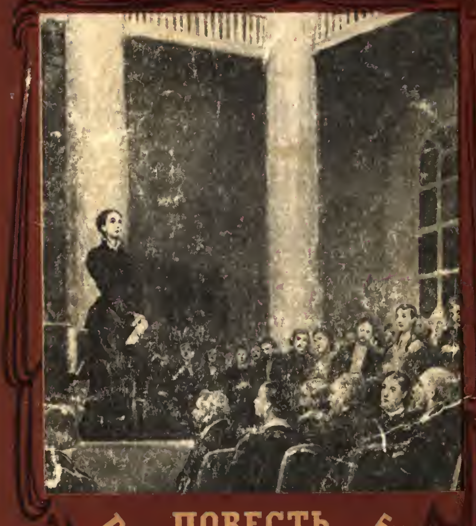
Л. ТЫНЯНОВА



ПОВЕСТЬ О РУССКОЙ АКТРИСЕ

ДЕТГИЗ 1950

Л. ТЫНЯНОВА

ПОВЕСТЬ
О РУССКОЙ АКТРИСЕ

Рисунки
А. Константиновского

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1950 Ленинград



ДЕТСТВО

В ТЕАТРЕ И ДОМА

— Негодяи! Бездельники! Не хочу пятнать о вас свою благородную шпагу!

Высокий, красивый человек, в изодранном плаще и измятой широкополой шляпе, с волочащейся по земле длинной шпагой, перелезает через железную ограду. Вся его фигура полна храбрости и истинного благородства. Это «испанский дворянин» дон Сезар де-Базан — артист Иван Васильевич Самарин. Сегодня он особенно в ударе. По зрительному залу от первого ряда кресел до последнего ряда галерки пробегает шопот восторга.

Но актер прислушивается к другому шопоту, который доносится из суфлерской будки.

— Стань за мной, дитя, — чуть слышно шепчет суфлер. — Не бойся.

— Не бойся, — гордо повторяет испанский дворянин, — тебя защищают дон Сезар и его шпага!

В будке душно, пахнет копотью от свечей, тускло освещающих лежащую перед суфлером тетрадку. Да он и не заглядывает в нее. Он смотрит на сцену.

Вот дон Сезар заступается за мальчика, которого ищут солдаты. Вот он дерется с офицером на шпагах. Суфлер подсказывает наизусть, тетрадка давно лежит вверх ногами.

Худенькая девочка с косичками, в бумазейном платьице, прижавшись к отцу, смотрит на ярко освещенную сцену. Воображение ее далеко, в той сказочной стране, где совершает свои подвиги дон Сезар. Ей очень неудобно смотреть из будки, почти все время приходится стоять, вытянув шею. Иногда актеры подходят так близко, что заслоняют собою всю сцену. Она не все понимает, но всем сердцем чувствует, как благороден герой пьесы, как храбро защищает он тех, кто нуждается в его защите. Она потрясена, когда его приговаривают к смертной казни. Она счастлива, когда ему удается бежать из тюрьмы.

Эта девочка, из глубины суфлерской будки смотревшая спектакль, была Машенька Ермолова — дочь младшего суфлера Малого театра.

Спектакль окончен. Огни погашены. Аплодисменты смолкли. Актеры расходятся. Вылезает из своей душной будки Николай Алексеевич Ермолов. В огромном театральном рыдване Машенька с отцом едут домой.

На пустынной Театральной площади гаснут костры, подле которых грелись во время спектакля кучера и выездные лакеи в ожидании господ. Масляные лампы коптят в фонарях, тускло освещая одноэтажные деревянные дома на Петровке, едва заметные в глубине окружающих их садов. Медленно проплывают мимо окошка вековые липы, величественно склоняя свои широкие, по-

крытые снегом ветви. Затейливые мостики и беседки виднеются за железными решетками садов...

От театра до дому недалеко, но Ермоловы едут долго, очень долго. Медленно плетутся лошади. Время от времени слышится щелканье кнута да однообразное понукание кучера. В карете темно. Пахнет плесенью и хлебными корками, которые кучер держит прозапас в боковых карманах кареты на случай, если лошади не захотят итти в гору...

Сначала надо развести по домам актеров, потом служащих, живущих близко от театра. Все реже встречаются запоздалые прохожие.

Вот и Каретный ряд. Машенька с отцом уже одни едут в огромном рыдване. Рыдван ныряет в темноте по ухабам, пассажиров трясет и качает во все стороны. Они держатся друг за друга, чтобы не упасть, кучер сердито кричит на ни в чем не повинных лошадей, ругая и проклиная их, и дорогу, и позднее время, и свою судьбу. Но вот последний отчаянный толчок — и полозья въезжают в рыхлый снег: это площадь, на которой стоит церковь Спаса с примыкающими к ней домишками. Возле одного из них останавливается театральная карета. Это домик просвирни Воиновой, в нижнем полуподвальном этаже которого живет с семьей Николай Алексеевич Ермолов.

Только в одной комнатке еще горит лампа, освещая накрытый стол. Мать Машеньки, Александра Ильинична, встречает их и, крепко обнимая дочь, боязливо поглядывает на мужа.

В молчании проходит ужин. Каждый думает о своем. Александра Ильинична — о том, что до конца месяца еще далеко, а денег осталось очень мало и надо как-нибудь извернуться, чтобы прокормить семью. Сегодня она ходила за крупой и за хлебом в бакалейную лавочку, и ей показалось, что лавочник поздоровался с нею суше, чем обычно. Должно быть, не станет больше отпускать в долг, хотя она всегда исправно платила ему... Зима стоит холодная, в подвале сыро, дров осталось немного... У девочек сносились пальтишки, а новые нечего и надеяться, что удастся сшить в эту зиму!

И она с беспокойством прислушивается к сухому покашливанию мужа. Прежде ему становилось хуже только весной, а теперь кашель мучит его и зимою...

О другом думает Николай Алексеевич. Разве о такой жизни мечтал он в юности, когда кончал театральное училище! Он с успехом выступал в школьных спектаклях, ставил водевили и сам писал их, и товарищи находили в нем незаурядный талант. Но не сбылись мечты! Из училища Николай Алексеевич был выпущен не драматическим артистом, а всего лишь младшим суфлером. И вот с тех пор он сидит в своей пыльной суфлерской будке, никем не видимый, никому не известный. А как часто актеры бывают обязаны ему своим успехом! Разве не он подсказывает им подчас верное толкование роли? Но они на виду, им аплодируют, ими восхищаются, а кто знает его? Кто видит его?

Правда, иногда случалось ему заменять заболевшего актера. Учить роль не нужно было — он знал любую из них наизусть! И он играл, играл с увлечением и, как многие находили, с талантом. Но актер выздоравливал — Ермолов снимал с себя театральный костюм и, как улитка, вновь заползал в свою тесную суфлерскую раковину. И на душе у него становилось еще тяжелее, и судьба представлялась ему еще мрачнее, чем прежде.

Нет, не удалась, положительно не удалась жизнь! Что ждет его впереди, кроме нищеты и болезни, незаметно подкравшейся и мучившей его все сильнее? На какую жизнь обречена его семья — дочери и кроткая жена, разделявшая с ним все невзгоды и безропотно сносившая все его, подчас несправедливые — он сам это сознавал, — нападки и вспышки?..

Николай Алексеевич машинально доедает свой ужин и долго еще сидит, задумчиво выстукивая пальцами по столу какую-то мелодию...

А Машенька и не дотрагивается до ужина. Она даже не замечает, что на тарелке перед нею лежит ее любимый «багдадский пирожок» с малиновым вареньем, который Александра Ильинична приберегла для нее. Она вся еще полна впечатлениями театра.

Ей кажется, что настоящая жизнь не здесь, в этих полутемных комнатках, а там, на залитой ярким светом сцене.

Высокий человек в изодранном плаще стоит перед ее глазами: «Не бойся, дитя! Тебя защищают дон Сезар и его шпага!»

Тихонько, чтобы не беспокоить отца, проскальзывает она в соседнюю комнату, где спят ее сестры — семилетняя Аннета и совсем маленькая Сашенька.

— Маш, это ты? Маш, уже вернулась? — шепчет Аннета, глядя сонными глазами на сестру. — Маш, а играть будем?

— Спи, Аннета, спи, — говорит Машенька, целуя ее и, как взрослая, поправляет сползшее одеяло. — Завтра будем играть. Поздно уже, спать надо!

— А во что будем? Давай в смешных богачек, ладно? А в театр будем играть, да?

— Будем, конечно будем!

— Как интересно-то! — Аннета блаженно улыбается и засыпает.

Машенька ложится рядом с нею, но долго еще не может уснуть, долго ворочается с боку на бок. Она думает об актерах. Какое это, должно быть, счастье — играть на сцене! Картины из разных пьес проходят перед ее глазами. Вот пажи в белых трико стоят на широкой лестнице, а между ними в самом центре—высокая, нарядно одетая дама. Это артистка Надежда Михайловна Медведева. А вот в другой пьесе — названия ее Машенька не помнила — та же артистка, в белом платье с распущенными волосами, поднимается из гроба... Это было так страшно и так прекрасно! А вот молодая девушка бросается на колени, ломая руки, плача и умоляя о чем-то...

— И я буду, — шепчет Машенька засыпая, — непременно буду актрисой!

Тяжело жилось семье Ермоловых, безрадостно проходило детство Машеньки. Девочки помогали матери по хозяйству, бегали в лавочку за провизией, убирали комнаты, мыли посуду.

В подвале было сыро и всегда полутемно. Окна заливало бы водой, если бы не вырытая перед ними канавка.

Единственным развлечением были игры на маленьком заброшенном кладбище возле церкви Спаса. Оно все заросло травой, и ребята называли его просто «травкой». Садик был только при доме священника, но заходить туда строго запрещалось. И «травка», которая постороннему человеку показалась бы просто заросшим пустырем, заменяла детям сад. Там можно было собирать букеты из куриной слепоты, делать венки и браслеты из стеблей одуванчиков.

Забрав с собой кукол — Ваню и Машу, — Машенька с Аннетой играли на «травке» в свою любимую игру, которую они сами придумали. Она называлась «смешные и злые богачки» и заключалась в том, что «злые богачки» преследовали и мучили Ваню с Машей, а «смешные богачки» защищали их.

Но самое интересное — это были памятники. Они могли превращаться во что угодно: то в карету, то в волшебный замок, то в корабль с поднятыми парусами. Иногда белое привидение появлялось меж надгробных плит, но только это была не та нарядная актриса, которую Машенька видела в театре, а сама Машенька, в длинной маминой рубашке, с распущенными волосами. Ребята в ужасе разбегались, а маленькая Аннета начинала так громко рыдать, что привидение само пугалось, и обе девочки опрометью мчались к маме.

А мама всегда была настоящим другом своих детей. Всю жизнь свою она посвятила им и больному, угрюмому, всегда раздраженному мужу. Тихая, кроткая, никогда не возвышала она голоса, никогда ни о ком не отзывалась дурно и безропотно переносила нужду и невзгоды.

В свободное время, по вечерам, Александра Ильинична читала девочкам вслух, а когда они подросли, то стали читать ей, пока она сидела за бесконечной починкой и штопкой. Книг у Ермоловых было мало. Покупать или брать их в библиотеке — о такой роскоши нечего было и думать. Но все же иногда по воскресеньям Николай Алексеевич отправлялся на Сухаревку и покупал старые книги. Так

появились в ермоловском подвале сочинения Пушкина, Лермонтова. А однажды отец принес за целый год журнал «Детское чтение».

Но если книг было мало у Ермоловых, зато было очень много исписанных мелким почерком тетрадей. Целые кипы этих тетрадей заполняли ермоловскую квартирку. Они лежали повсюду: на столе, на сундуке, на шкафу, на старом рояле. Это были пьесы. Они-то и были любимым чтением Машеньки. Люди, близкие семье Ермоловых, не могли себе иначе представить девочку, как с неизменной тетрадкой в руках.

Иногда и отец читал девочкам вслух. Слушать его было наслаждением для Машеньки. Читал он так хорошо, с таким чувством, что стоило большого труда удержаться от слез. Иногда, возвратившись из театра, рассказывал он, весь преображаясь, об игре великих актеров — Щепкина, Шумского, Садовского. Замирая от восторга, Машенька смотрела на него и не узнавала своего угрюмого, молчаливого отца. В такие минуты вся семья оживлялась и в подвале становилось светлее, радостнее, наряднее.

Для Николая Алексеевича театр был самым дорогим в жизни, и эта горячая его любовь рано передалась Машеньке. Она не была избалована частыми посещениями театра, но те впечатления, которые она выносила после каждого спектакля, заполняли все ее мысли.

ИГРА

— Я сделаю вам честь проколоть вас насквозь, потому что я дон Сезар де-Базан, гранд первого класса. Я могу не снимать моей шляпы даже перед королем испанским, а я говорил с вами без шляпы...

Спектакль в разгаре. «Испанский дворянин» — Саша Наврозов, двоюродный брат Машеньки, постоянный участник и горячий поклонник ее «игр». Маритана — Машенька. Лазарильо — Вера Топольская, подруга Машеньки, которая жила на одном дворе с Ермоловыми. Суфлер — Аннета. По ходу действия она превра-

щается то в артистку, то в зрительницу, то в башенные часы. Зрительный зал — диван. На нем важно сидит единственная постоянная зрительница — маленькая Саня; да Александра Ильинична, оторвавшись от хозяйственных хлопот, иногда забегает на несколько минут посмотреть спектакль. Декорации — стулья и табуреты, перевернутые вверх ногами, чтобы было похоже на театр. Горшки с цветами — геранью, фуксией, гвоздикой — перенесены с окон в глубь сцены. Они должны изображать роскошные сады Испании.

Дон Сезар де-Базан — Саша Наврозов, — в накидке и шляпе Александры Ильиничны, бегает по сцене, с грохотом волоча за собой привязанную веревкой к поясу шпагу-палку.

Машенька-Маритана, в длинной бабушкиной юбке и шитой бисером кофте, одна в замке ждет своего спасителя.

— Боже мой, — говорит она, бросаясь на колени перед образом, — уже поздно, а его все нет!

— Бом, бом, бом, бом! — голосом Аннеты бьют за сценой башенные часы.

Маритана считает удары:

— Десять! Вот уже три часа, как он ушел! Что это? Я слышу шаги! Ах, это, верно, он!

Вера Топольская — Лазарильо — со свечой, изображающей потайной фонарь, передает Саше веревочную лестницу и помогает ему бежать из тюрьмы. Благородный, храбрый дон Сезар де-Базан спасает Маритану от козней врагов и сам, к великому удовольствию зрителей, избавляется от грозивших ему опасностей.

Сразу же вслед за «Испанским дворянином» был поставлен «Борис Годунов». Времени на подготовку ушло немного. Та же герань и гвоздика на этот раз изображали сад в сцене у фонтана.

Знай, отдаю торжественно я руку
Наследнику московского престола,
Царевичу, спасенному судьбой... —

говорила Машенька-Марина, обращаясь к Саше — Дмитрию Самозванцу. Ее низкий, не детский голос звучал так торжественно, она

вся так преображалась, что Самозванец подчас заслушивался и забывал слова своей роли.

> В твоих руках теперь моя судьба!
> Реши: я жду!..

— На колени! Падай на колени! Скорей! — звонким шопотом подсказывала Аннета.

Саша осторожно опустился на одно колено. На нем были новые брюки, которые он надел сегодня в первый раз.

— «Реши: я жду!» — повторил он и, опустив голову, закрыл лицо руками.

Однако ждать ему пришлось долго. Марина не отвечала. И вообще вокруг стало как-то подозрительно тихо. Саша поднял глаза. Сквозь полуоткрытую дверь просунулась голова, обвязанная полотенцем. Это была жилица Ермоловых, фрау Мур, снимавшая у них в подвале комнатку за четыре рубля в месяц.

У фрау Мур часто была мигрень, и голова ее всегда была повязана полотенцем.

— Ах, ви опять шумель! Ви нехорошие дети! — сказала она, вздыхая и показывая свои длинные желтые зубы. — Ах, этот Санья имей такой громкий голос, такой громкий, как... как эриконский труб! — выпалила она наконец.

Аннета тихонько прыснула.

— Я просиль тишина, — продолжала свои жалобы немка. — Я имей такой сильный мигрень. Ах, Санья! Когда-нибудь он будет вгоняль меня в могила!

Еще раз вздохнув и трагически подняв глаза к небу, она скрылась.

Веселье было испорчено. Спектакль прервался на самом интересном месте. Аннета сердито захлопнула за жилицей дверь. Машенька, задумавшись, грустно продолжала стоять «у фонтана».

— Будь моя воля, я бы тебе такой «эриконский труб» прописал, старая ведьма! — Саша погрозил кулаком по направлению к двери, за которой скрылась фрау Мур.

— Это немецкие черти у нее в душе бунтуют, — серьезно ска-

зала Вера. — Знаете что? — предложила она, тряхнув косичками. — Пошли к нам! У нас дома никого нет. Мешать не будут.

— Вот это верно! Пошли! Сейчас, только здесь порядок наведем, — сказал Саша, быстро передвигая на прежние места мебель. — Ну, Маша, проснись! Или ты думаешь, что ты и в самом деле Марина Мнишек?

— Ты знаешь, Саша, я поняла, — сказала Машенька, задумчиво снимая шитую бисером кофту: — это место, когда ты бросаешься передо мною на колени, нужно сыграть совсем не так...

ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

1862 год. Хмурое осеннее утро. Моросит мелкий дождь. Машенька с отцом молча шагают по узким московским переулкам. На Маше новое платье. Пальтишко аккуратно заштопано и отглажено заботливой маминой рукой. В косички вплетены новые ленты. В белый с черными крапинками ситцевый платок увязан весь ее небольшой багаж: гребенка, кусочек мыла, любимый номер журнала «Детское чтение» и синее стеклышко, которое Аннета дала ей «на счастье» и велела беречь. Мама при расставанье тоже что-то торопливо засунула в узелок. Должно быть, любимый Машин «багдадский пирожок», а может быть, сладкие коричневые стручки...

Мама! Когда теперь она снова увидит ее? Когда услышит ее тихий голос? Повторятся ли когда-нибудь вечера, которые Машенька так любила, когда мама, проводив отца в театр, читала ей вслух пьесы и они вместе обливались слезами над страданиями героев...

Кроткое лицо с грустным взглядом больших черных глаз, с гладко причесанными на прямой пробор волосами встает перед Машей.

Вернуться бы домой еще хоть на одну минуту, еще хоть разок взглянуть на маму, прижать к щеке ее милую шершавую руку!

Как долго стояли они у дома — мама, Аннета и маленькая Саня, — всё не уходили, всё смотрели ей вслед! А она все оборачивалась и махала им рукой, а отец говорил: «Полно, полно, Маша!..»

Но она отгоняет от себя эти печальные мысли. Ведь сегодня радостный, долгожданный день — она принята в театральное училище! Исполнится ее мечта, она будет актрисой! И, забыв обо всем на свете, Маша уже не идет, а летит, как на крыльях...

Они идут по тихим московским улицам, мимо крашеных деревянных домов, мимо решетчатых железных заборов, мимо садов с фруктовыми деревьями, кустами малины и крыжовника, с дорожками и цветочными клумбами, с прудами, в которых плавают лебеди...

Как бесконечно длинен сегодня путь до Кузнецкого моста! Как медленно плетется отец...

А Николай Алексеевич взволнован не меньше дочери. Всегда он был суров с детьми, всегда требовал полного подчинения, всегда думал, что нужно воспитывать их в строгости, чтобы подготовить к жизни, полной жестоких превратностей. Он по опыту знал, как щедра бывает судьба на обиды.

И Николай Алексеевич искоса поглядывает на маленькую девочку в потертом салопчике и полинялом бархатном капоре, так бодро шагающую навстречу новой жизни. Что ждет ее впереди? Она любит театр, у нее есть способности. Но кто лучше его знает, сколько унижений, сколько душевных потрясений нужно пережить, для того чтобы пробить себе дорогу на сцену? Где еще можно встретить так много коварных интриг, зависти, тайного недоброжелательства? И все-таки он чувствует, он знает, что у Маши нет другого пути.

Николай Алексеевич с горечью вспоминает, как после долгих, мучительных сомнений и колебаний он отправился к Самарину — просить, чтобы знаменитый артист согласился платить в театральное училище за Машу. Маленького суфлерского жалованья едва хватало, чтобы прокормить семью. И Самарин согласился...

Вот наконец казенное двухэтажное здание на углу Большой

Дмитровки и Кузнецкого моста. Огромного роста швейцар с рыжей бородой, в ливрее с блестящими пуговицами стоит у подъезда, встречая пришедших величественным и снисходительным взглядом. Маша поднимается по лестнице. Ноги плохо слушаются ее, колени подгибаются, по всему телу пробегает дрожь. Ей страшно, она готова бежать домой к маме, к Аннете... Но поздно! Николай Алексеевич открывает одну дверь, потом вторую — и они в большой, светлой комнате, посредине которой стоит длинный стол, покрытый зеленой скатертью. У стола сидит маленький седенький чиновник в очках. Он что-то пишет, скрипя пером.

— Фамилия? Имя? — Чиновник смотрит на Машеньку поверх очков. — Ермолова Мария, — равнодушно повторяет он за Николаем Алексеевичем и ровными крупными буквами вписывает имя Маши в журнал воспитанниц.

— Свидания с родными по воскресениям, — говорит он таким же скрипучим, как его перо, голосом. — Домой сможете брать воспитанницу только на вакации: рождество, пасху и на лето.

Как во сне, Машенька прощается с отцом.

— Ну, дочка, — говорит Николай Алексеевич взволнованно и торжественно, — не забывай, как мы с мамашей учили тебя. Будь честной, иди всегда прямой дорогой...

Он хочет еще что-то прибавить, но голос его прерывается. Наскоро перекрестив ее, поцеловав в лоб, он быстро, не оглядываясь, уходит. Дверь захлопывается. Машенька остается одна в этом большом чужом здании, с чужими людьми.

Прощай детство, прощай родительский дом! Что-то сулит ей новая жизнь?

Московское театральное училище было основано при Императорских театрах в 1808 году. Согласно приказу, оно должно было заниматься «усовершенствованием российских спектаклей и балетов». Это было закрытое учебное заведение, очень похожее на тогдашние институты «для благородных девиц», с той разницей, что, принимая воспитанниц, начальство обращало главное внимание на

внешность будущих актрис. Ни ум, ни способности, ни любовь к театру не имели никакого значения. Подобно тому как еще во времена Анны Иоанновны отбирались для «комедийных действ» самые красивые девочки и мальчики, так же и теперь, больше чем через сто лет, театральные чиновники старались придерживаться этого правила.

— Если девица не талантлива, то пускай будет хотя бы красива, — наказывал школьному начальству директор Императорских театров Гедеонов. — На сцене, господа, нужна красивая мебель.

Вот почему в этом большом сером казенном здании «красавицы» пользовались преимуществами, о которых обыкновенные девочки могли только мечтать. «Красавицы» имели право вставать позже всех, не учить уроков. Начальство смотрело на это сквозь пальцы. Никому и в голову не приходило, что театральное училище должно развивать любовь к искусству, давать знания, воспитывать душу. Застывшие, мертвые, раз навсегда установленные правила руководили жизнью воспитанниц от первого до последнего класса.

Вот почему часто случалось, что, проведя в училище десять лет, не видя, не зная действительной жизни, воспитанница из тихой, застенчивой, скромной девочки превращалась в холодную, надменную куклу. Слоняясь по коридорам, «красавицы» вели разговоры лишь о поклонниках, о развлечениях, о платьях. Никакие другие заботы и сомнения не тревожили их.

По уставу, театральному училищу полагалось иметь три класса: балетный, общеобразовательный и класс драматического искусства. Так и было в течение многих лет. Но постепенно школьное начальство все свое внимание сосредоточило на балетном классе, и ко времени поступления Маши в училище оно превратилось в балетную школу. Неспособных к танцам исключали из училища.

Общеобразовательные классы были в полном упадке. Учителя, сами имевшие весьма смутное представление о науках, которые они преподавали, разумеется ничем не могли помочь умственному развитию своих учениц. Да и нужно ли образование «балет-

ным»! Начальство, повидимому, давно решило для себя этот вопрос.

Что же касается драматического класса, то он существовал к этому времени лишь на бумаге. Вот о чем и не подозревал Николай Алексеевич, когда говорил Маше, что она будет учиться в драматическом классе и что ведет этот класс сам Иван Васильевич Самарин. На самом же деле Самарин давно забросил преподавание и передал его актеру Малого театра Колосову. Но и Колосов показывался в училище редко — раза два в месяц, и то не для занятий, а лишь тогда, когда для очередного спектакля требовались «дети». Он отбирал ту или иную воспитанницу и принимался спешно готовить ее к спектаклю.

Так в первые же дни поступления в училище Машу ожидало глубокое разочарование.

ДВЕ ВАРИ

— «Да святится и-и-мя твое, да приидет ца-арствие твое...»

Нестройный хор детских голосов раздавался в рекреационном зале. Машенька вместе со своими сверстницами, младшими воспитанницами, стояла на коленях и пела утреннюю молитву. Она была в форменном красновато-коричневом камлотовом платьице с черным фартуком и белой пелеринкой, накинутой на голые плечи.

Девочки дрожали от холода, потирая украдкой посиневшие руки: «Ах, скорей бы в столовую, хоть согреться бы горячим чаем!»

— «...и не введи нас во искуше-е-ние, но избави нас от лука-а-во-го. Аминь».

И, перегоняя друг друга, воспитанницы побежали в столовую.

— Mesdames, в пары, в пары! Сколько раз вам надо говорить! — грозно кричала на них классная дама Екатерина Ивановна, небольшого роста, полная, с черными усиками.

Когда Екатерина Ивановна сердилась, лицо ее становилось темнокрасного цвета — недаром прозвали ее «солониной». Впрочем,

в училище было распространено мнение, что прозвище это она получила еще и потому, что маленьким приходилось солоно от ее наставлений.

В столовой уже были накрыты столы для завтрака. Двери поминутно хлопали. Одна за другой появлялись старшие ученицы — пепиньерки. Они пользовались особыми привилегиями, и даже «солонина» не рисковала делать им замечания.

Стараясь не попадаться на глаза классной даме, Машенька пробиралась на свое обычное место между Варей Бороздиной и Варей Кудрявцевой, или, как их называли, Варей-первой и Варей-второй. Иногда, впрочем, это место выпрашивала для себя Вера Топольская — вслед за Машей и она поступила в училище. Сидеть между двумя Варями было очень заманчиво. Можно было задумать какое-нибудь желание, и оно обязательно сбудется.

Обе Вари были закадычными подругами Машеньки. Варя Бороздина была строгая, сдержанная, с тонкими чертами лица, с гладко причесанными на прямой пробор волосами. Неуловимая грация была видна в каждом ее движении, и вместе с тем в ней не было того кокетства, которое считалось в училище признаком хорошего тона (маленькие учились кокетству у пепиньерок). В ее манере держаться чувствовалась смелость, которой не было у других девочек. Обо всем она судила независимо, решительно — часто вразрез с мнением всего класса. Подруги уважали ее. С Машей больше всего сблизила ее любовь к театру. Так же как и Маша, Варя мечтала стать драматической актрисой.

Вторая Варя была совсем не похожа на первую. Это была тихая, мечтательная, очень хорошенькая девочка с нежным цветом лица и большими карими грустными глазами. Подруги любили Варю за мягкий, ласковый нрав, за доброту и отзывчивость. Фамилию «Кудрявцева» они тотчас же переделали в «кудрявочку», а потом стали называть ее просто «курочкой». Варя была сирота. В училище ее отдала тетка, нимало не считавшаяся с желаниями и вкусами племянницы. Варя любила музыку и с ранних лет мечтала быть пианисткой, но тетка почему-то решила сделать ее балериной.

Впрочем, отдав Варю в театральное училище, она редко вспоминала о ней.

С первого же знакомства Варя всей душой привязалась к Машеньке. Часто в тишине ночи поверяли они друг другу свои заветные тайны и клялись в дружбе и любви до гроба.

— Ох, наконец-то! — быстро зашептала Варя-вторая, когда Маша, благополучно миновав Екатерину Ивановну, уселась на свое место. — Я так боялась, что «солонина» снова к тебе привяжется! Она сегодня не в духе. Смотри, какая красная.

— Да, — подтвердила Вера Топольская, энергично тряхнув головой, от чего две маленькие беленькие косички торчком поднялись кверху. — Сегодня соленые черти у нее в душе разбушевались.

Это было любимое Верино выражение, и она употребляла его кстати и некстати. То черти были немецкие, когда речь шла о фрау Мур, то соленые — когда о «солонине».

— Маша, — таинственно прошептала Варя-первая, — значит, условились: в пять часов у комода.

Маша кивнула.

— В пять часов, — сказала она Варе-второй.

Варя-вторая кивнула.

— В пять часов у комода, — прошептала она на ухо Вере Топольской.

Вера кивнула.

В столовой стало тихо. Слышалось только постукивание кружек о столы, да изредка раздавались резкие окрики классной дамы, заставлявшие вздрагивать присмиревших воспитанниц.

Вдруг оглушительный хохот пронесся по всей столовой. В дверях появилась пепиньерка — высокая красивая брюнетка с большими светлосерыми глазами и молочно-белым цветом лица. На голове ее красовался небрежно надетый лавровый венок, из-под которого выбивались пряди распущенных волос. Пелеринка наподобие плаща была лихо накинута на одно плечо.

— Смотри, твоя! — с полным ртом сказала Варя-первая и ткнула Машеньку пальцем в бок. — Ох, ненавижу я этих пепинье-

рок! — прибавила она и показала под фартуком кулак. — Злюки противные! Хуже классных дам!

— Нади́на! Нади́на! — в восторге кричали пепиньерки.

— Ха-ха-ха, mesdames, вот бы нам такую форму! Божественно!

— Ой, не могу, не могу, умру от смеха! Молодец, Надина, она всегда что-нибудь смешное придумает!

Гордо подняв голову, не улыбаясь, Надина плавно прошла между столами и уселась с независимым видом.

Она долго вертела в руках булочку-розанчик, внимательно оглядела ее со всех сторон и положила на стол. Она была недовольна. Грозный взгляд ее искал кого-то среди младших. Пепиньерки замерли в восторге. Сейчас начнется расправа.

— Маша, прячься скорей, полезай под стол! — шепнула Варя-вторая.

Но было уже поздно. Серые глаза Надины остановились на Маше.

Маша покраснела. Булка застряла у нее в горле; она поставила кружку с чаем на стол. Надина любила, чтобы розанчики были поджаристые, и Маше вменялось в обязанность поджаривать их для нее по утрам.

У каждой младшей воспитанницы была своя мучительница-пепиньерка, которая репетировала с нею балетные экзерсисы. Пепиньерки широко пользовались своими правами над подвластными им «маленькими».

Маша всегда исправно выполняла свои обязанности. В сущности, Надина была не так уж плоха, даже добрее многих других пепиньерок, от которых младшим доставалось подчас еще больше, чем от классных дам.

— Ну-с, это что значит? — грозно сказала Надина, когда Маша подошла к ней и остановилась, в смущении теребя фартук.

— Я тебя спрашиваю, что это значит? — повторила Надина, тыча розанчиком прямо в лицо Машеньке.

— Извините, мадемуазель Надина, я не успела... — тихо сказала Маша.

— Не успела! Вы слышите, mesdames? Она не успела! Чем же

это ты, интересно узнать, была занята? Быть может, так усердно к танцовальным классам готовилась? Сейчас посмотрим, каковы твои успехи со вчерашнего дня!

— Да, посмотрим! — сказала другая пепиньерка, приятельница Надины, тоненькая блондинка с падавшими на лоб завитушками золотистых волос.

— А ну, пойдем, моя милая!

Надина схватила за руку Машу и потащила в угол, к окну. Вся ватага пепиньерок с визгом последовала за ними и окружила их тесным кольцом.

— Подними ногу! — грозно сказала Надина. — Вытяни подъем, покажи шаг! И, пожалуйста, не строить грустных физиономий! Подумаешь, мечтательница нашлась!

— Вот они все так, жертву из себя строят! — быстро затараторила пепиньерка с завитушками. — Вы должны слушаться нас, — назидательно прибавила она, обращаясь уже прямо к Машеньке, — потому что мы школьные ветеринары... Сам Гедеонов сказал...

Она хотела еще что-то прибавить, но Надина смерила ее презрительным взглядом и процедила сквозь зубы:

— Не ветеринары, а ве-те-ра-ны.

— А по-моему, ветеринары! — упрямо повторила пепиньерка, но все же замолчала и с обиженным видом отошла от Надины.

— В следующий раз высеку, а теперь можешь быть свободной, — сказала Надина и, подняв руку, царственным жестом указала куда-то вдаль, как сказочная принцесса из балета «Дочь фараона», в котором, впрочем, сама Надина танцовала в глубине сцены, «у воды».

Старшие были разочарованы и недовольны: не того ожидали они от своей изобретательной подружки. Но Надина передумала. Пепиньерка с завитушками испортила ей настроение, и у нее пропала всякая охота возиться с Машей. Она зевнула, со скучающим видом поправила лавровый венок на голове и уселась за стол. Громкий звонок возвестил конец завтрака. В девять часов начинались танцовальные классы.

«БАЛЕТНАЯ МУКА»

— Раз, два, три! Раз, два, три! Не так! Сначала! Первая позиция — ступни вывернуты, пятки сомкнуты! Раз, два, три! Ронд де жамб пар тер! Так, так! Не сгибайте колени, головы выше! Мадемуазель Грамзина, не держите руки самоваром!

Младшие танцовальные классы вел балетмейстер Манохин. Занятия происходили в большом зале с покатым полом и высокими зеркалами. Вдоль стен были укреплены длинные деревянные брусы. Держась за эти брусы, воспитанницы проделывали балетные упражнения. Это так и называлось — танцовать «у бруса» или «у станка».

С первого же дня Маша возненавидела эти уроки. У нее не было никаких способностей к балету, она сама это ясно сознавала. Не было той ловкости, той быстроты и плавности движений, которые многим так легко давались, например Маше Никитиной, или Аннете Грамзиной, или Любе Красовской. Но ведь она никогда и не хотела быть балериной. Она мечтала о драматической сцене, а вместо этого ее заставляют каждое утро становиться «у станка» и терпеть «балетную му́ку».

С длинной тростью, как укротитель зверей по арене цирка, Манохин носился по залу, подбегая то к одной воспитаннице, то к другой, поворачивая их за руки и за плечи то направо, то налево. Иногда он останавливался и, злобно топая ногою, отбивал такт. У него было прозвище «бог-мартышка», очень странное, но почему-то подходившее к нему. Его острые серые глазки быстро перебегали с одной пары ног на другую. Заметив ошибку, он тростью ударял по ноге, и недаром воспитанницы на собственном опыте испытали, что он так же «тяжел на руку», как «легок на ногу».

— Раз, два, три! Батман девелопэ! Никуда не годится! Сначала! Поднимите голову, разверните грудь, опустите плечи, руки свободно уроните вниз! Так, так, хорошо, мадемуазель Никитина! Корпус прямее, голову выше, мадемуазель Смирнова!

Держась за брус, Машенька старательно проделывала ненави-

стные ей экзерсисы. Однако ноги плохо слушались, движения выходили неловкие, она запаздывала, не попадала в такт. Большой батман, малый батман еще кое-как получались, но батман девелопэ — с этим ей никак не справиться.

Ах, только бы не попасться на глаза мосье Манохину! Но не тут-то было! Не так легко было скрыть что-нибудь от маленьких острых глазок «бога-мартышки».

— Мадемуазель Ермолова!.. — Легкий прыжок — и Манохин был уже рядом с Машей. — Раз, два, три! — Длинные пальцы четко отбивали такт по ее плечу. — Ну, как вы стоите! Как вы стоите! Подтяните живот, грудь вперед, голову прямо! Что вы торчите, как... чугунная печка! Убрать сейчас же эту кочергу! — И он больно хлопнул Машу тростью по ноге.

Манохин был мастер придумывать сравнения. Чего только не приходило ему в голову! Прошло немало времени, пока воспитанницы привыкли и научились понимать его язык. Но теперь они уже твердо знали, что нога — это «кочерга», руки — «грабли», голова — «колпак», и порой даже забывали, что слова эти имеют совсем другое значение.

Много забавных историй случалось на уроках Манохина. Однажды во время занятий в зале топилась печка. Уголья давно уже истлели, но никто из нянюшек не являлся, чтобы закрыть трубу. Про печку забыли. Длинная кочерга сиротливо стояла в углу.

— Мадемуазель Кудрявцева, — обратился вдруг Манохин к стоявшей в «аттитюде» Варе, — возьмите кочергу и закройте трубу.

Варя испуганно посмотрела на «бога-мартышку» своими большими грустными глазами, но не двинулась с места.

— Мадемуазель Кудрявцева, что я вам сказал! — закричал Манохин; он не любил два раза повторять приказания.

Но бедная «курочка» только как-то неестественно изогнулась, для чего-то сначала в нерешительности опустила ногу, потом снова подняла ее и продолжала стоять на месте.

Напрасно девочки знаками старались объяснить ей, что надо

было делать, напрасно указывали на длинную кочергу — Варя стояла, как в столбняке, полными ужаса глазами глядя на учителя и не понимая, чего он от нее хочет. Она знала, что «кочерга» — это нога, но что означало «закрыть трубу», этого она никак понять не могла. Сам Манохин в конце концов растерялся и пробормотал, пожимая плечами:

— Что с нею? Она помешалась? Мадемуазель Красовская, закройте трубу.

Таков был грозный «бог-мартышка», и воспитанницы боялись его больше всех остальных преподавателей и классных дам.

— Танцовщица должна быть воздушна, а вы... вы, как утка, топчетесь! — визгливым голосом кричал он над самым Машиным ухом, все больше и больше выходя из себя. — Сначала! Раз, два, три! Как вы делаете девелопэ!.. Боже мой, мадемуазель Никитина, покажите ей, что такое девелопэ!.. Звуки должны вылетать из ваших ног! — яростно стуча тростью об пол, кричал Манохин. — Кусайте пальцами пол, кусайте пол, говорю я вам! Ваши движения должны быть мягки, грациозны, а вы? Вы спотыкаетесь, как корова на льду! Вы торчите здесь, как черное дерево, как неотесанное бревно, как кирпичная стенка!

В отчаянии, не понимая, чего хочет от нее «бог-мартышка», держась за брус, как за якорь спасения, Маша изо всех сил старалась выделывать мудреные балетные па.

Но учитель не унимался. Он давно невзлюбил Машу и не упускал случая поиздеваться над нею.

— Опять эта кислая физиономия! Так-то вы будете пленять зрителей, мадемуазель Ермолова! Воображаю, в каком восторге они будут! — И Манохин закатывал глаза и строил рожи, передразнивая Машеньку. — Ваше лицо должно изображать удовольствие, радость, нежность, любезность!

Подняв на учителя свои большие, полные слез глаза, Маша старалась выразить «удовольствие, радость и любезность». Неизвестно, сколько длилась бы еще эта мýка, если бы не прозвенел звонок.

— Чтобы к завтрашнему дню знать все основные позиции:

ассамбле, жетэ, купэ, плие, деми-плие, томбэ, сотэ... Если не будете знать, — он яростно стукнул тростью об пол, — из училища вышвырну! В театр бутафорию делать пошлю! — И, обведя воспитанниц грозным взглядом, он легкими прыжками выбежал из зала.

Первая очнулась Вера Топольская. Придерживая обеими руками уголки фартука, она сделала глубокий реверанс по направлению к двери и визгливо прокричала, подражая Манохину:

— Ассамбле, жетэ, эшапэ, сотэ! Ох, спасите! Балетные черти в его душе разбушевались!.. Вот честное слово! — прибавила она и перекрестилась в доказательство своей правоты.

— Опять черти!

— Вечно ты, Топольская, со своими чертями!

— Надоела! Неприятно даже!

— Тише, девочки, будет вам! — вступилась Варя-вторая. — Надо Машу выручать. «Бог-мартышка» ее со свету сживет. Придумайте что-нибудь, девочки, милые!

— Пусть Варя-первая придумает, она у нас самая умная, — серьезно сказала Топольская, и, видя, что Варя молчит задумавшись, она прокричала ей прямо в ухо: — Ва-а-ря, проснись! Машу выручать надо.

— Молчите, девочки! Разве вы не видите, что ей дурно! — сказала Варя-первая и бросилась к Маше.

Прислонившись к стене, с побелевшим лицом, Маша давно уже не слышала, о чем говорят и спорят подруги.

— Маша, Маша, да очнись же, Машенька! — в отчаянии кричала над самым ее ухом Варя-вторая. — Девочки, да что же это, она умирает, боже мой!..

Маша хотела ответить, но только шевелила губами, а слов почему-то не было слышно. Варин голос долетал до нее откуда-то издалека.

«Да куда же это я? Мне надо вернуться», подумала Маша и открыла глаза.

Она увидела склонившиеся над нею бледные, испуганные лица

подруг. Она уже не стояла у стены, как прежде, а лежала на скамейке.

— Да я ничего, девочки... — пробормотала она. — Просто голова закружилась.

— Да, «просто»! — сказала Вера. — Если бы не Варя-первая, ты бы как раз голову о брус расшибла. Это она тебя подхватила.

— Что же теперь делать, девочки? — растерянно говорила Варя-вторая и гладила Машу по голове. — Она расхворалась совсем!

— Девочки, да это чудесно! Все прекрасно устроится! — радостно воскликнула вдруг Варя-первая.

Подруги удивленно посмотрели на нее.

— Ох, спасите! — Вера схватилась за голову. — Теперь эта помешалась! Ну и денек сегодня...

— Да нет же, слушайте! Надо бежать к «солонине» и сообщить, что Маша очень больна. Доктор продержит ее два дня в лазарете, а тем временем Манохин о ней забудет.

— Вот это верно!

— Браво, Бороздина!

— Умница, Варя!

— Кто говорил, что она у нас самая умная! — сказала Вера, одобрительно хлопая Варю по плечу. — Подождите, подождите, — прибавила она вспоминая, — а как же репетиция? Ведь у нас сегодня в пять часов репетиция у комода! Я уже юбку у Степаниды взяла, и кофту с буфами, и платок шелковый, яркий-яркий!

Девочки притихли.

— Ведь и правда! Как же без Маши? — раздался чей-то огорченный голос.

Все взгляды обратились к Варе-первой.

Варя задумалась на секунду, как бы колеблясь, потом сказала решительно:

— Репетиция отменяется!

«У КОМОДА»

Что же это были за таинственные репетиции «у комода»? А это были все те же игры в театр, которые Маша завела и в школе. Они были единственным развлечением в серой, однообразной школьной жизни, единственным отдыхом от ежедневной «балетной му́ки», придирок классных дам и пепиньерок. Игры заменяли ей всё: и дом, по которому она тосковала, и театр, в котором она бывала так редко.

Вначале, когда Маша еще дичилась подруг, в играх этих принимали участие лишь несколько девочек, с которыми она сблизилась с первых дней поступления в училище. Это были Варя Бороздина, Варя Кудрявцева, Катя Семенова и давнишняя участница Машенькиных игр — Вера Топольская. Но постепенно круг юных актрис все увеличивался, и наконец составилась уже целая «труппа», руководителями и режиссерами которой были Машенька и Варя Бороздина.

Место первой актрисы, по всеобщему соглашению, было признано за Машей Ермоловой. С нею никто состязаться не мог и даже не пытался. Самые ярые «балетные», с презрением относившиеся к драматическому искусству, заслушивались ее чтением и увлекались ее игрою. Число Машиных поклонниц и обожательниц росло с каждым днем. В свободное от занятий время девочки собирались в отдаленном углу дортуара, «у комода» — это было наиболее безопасное место, — и разыгрывали самые отчаянные драмы, какие им когда-либо довелось видеть или читать. Перевернутые парты, столы и табуреты служили декорациями. Что же касается театральных костюмов, то их поставляла лазаретная нянька Степанида, охотно предоставляя в распоряжение «труппы» все свои туалеты. А если их нехватало, она выпрашивала у других нянюшек, у ламповщика, у швейцара.

Толстая, добродушная Степанида была любительницей театра, и именно драматического театра. К балету она относилась с недоверием и считала, что «только зря детей выламывают». Ее мать служила у «самого» Мочалова, и рассказов о нем хватило на всю

Степанидину жизнь. Часто в свободные часы Маша забиралась в ее крохотную чистенькую каморку при лазарете и с наслаждением слушала бесконечные рассказы.

Горячая Машина поклонница и покровительница игр «у комода», Степанида очень гордилась тем, что для нее всегда оставлялось самое почетное место в первом ряду. Она любила повторять, что ей обязательно надо сидеть близко, чтобы видеть глаза актера.

— У них вся сила в глазах, — таинственно объясняла она. — Бывало Павел Степаныч, царство ему небесное, как уставит глаза — мы с мамашей из оркестра все пиэсы смотрели, — так у меня все внутри и перевернется. Лихорадка все тело бьет... Вот и Маша — ведь когда играет, у нее глаза какие-то особенные делаются: как будто глядят на тебя, а совсем другое видят.

В глубине души Машенька и сама верила в свой талант, но театральное начальство судило иначе: Маша Ермолова давно была зачислена в разряд безнадежных.

Прошло несколько месяцев после поступления в училище, и к «балетной му́ке» прибавились новые огорчения. Воспитанниц начали вывозить по вечерам в Большой театр, где они танцовали в кордебалете в глубине сцены — э́то называлось «у воды» — или изображали в опере бессловесных пажей. Трико и колет пажа не шли к угловатой Машиной фигурке, делали ее неуклюжей, а грустное, бледное личико так плохо сочеталось с застывшей балетной улыбкой, что Маша с трудом удерживалась от слез, глядя на себя в зеркало.

Изредка воспитанниц возили и в Малый театр. Эти дни были праздником для Машеньки! Она наслаждалась игрой Самарина, Шумского, Федотовой и своей любимой актрисы Надежды Михайловны Медведевой. А после театра в ролях Медведевой «у комода» выступала сама Машенька, в Степанидиной юбке или длинной ночной рубашке, и юные зрители восхищались ее игрой не меньше, чем взрослые — игрой самой Медведевой. Нужды нет, что слова роли были совсем другие и что тут же, во время хода действия, они подчас придумывались самой артисткой.

ЛАЗАРЕТ

Старичок-итальянец доктор Марокетти велел Маше показать язык и одобрительно кивнул.

— Карошие, совсем карошие язык!— ласково сказал он и большими буквами прописал рецепт: «Бульон с булком».

В палате, или попросту в маленькой комнатке, куда привели Машу, лежало несколько девочек, ее одноклассниц: Катя Семенова, Аннета Аристова, Липа Курнакова, Матреша Смирнова.

Катя Семенова очень обрадовалась Маше — она уже две недели была больна и теперь только начинала поправляться от жестокой простуды. Катя была худенькая, бледная, и старенький доктор не спешил выписывать ее из лазарета. Она закидала Машу вопросами о школьных делах, о подругах, о «солонине», о спектаклях «у комода».

— Маш, не огорчайся, — утешала она Машу, выслушав рассказ о ее бедах. — Ну кто не знает «бога-мартышку»! Его даже в театре терпеть не могут, честное слово! Моя мама говорит: «Невыносимый характер!» Он и к настоящим балеринам придирается, не то что к нам. Ничего не поделаешь, приходится терпеть... — Катя сокрушенно покачала головой. — Мама рассказывала, что в Петербурге, когда она в театральном училище училась, еще тяжелее жилось воспитанницам... Вот она меня и жалеет. Но говорит: «Другого выхода нет».

Мать Кати, Екатерина Александровна Семенова, была известная оперная певица. Она училась и начинала свою артистическую деятельность в Петербурге, но потом перевелась в Москву, в Большой театр. Впрочем, связи с Петербургом она не порывала и очень часто ездила туда на гастроли.

Катя горячо любила мать. Она также мечтала быть певицей, хотя голосок у нее был слабенький и мама говорила, что вряд ли он разовьется. Катя сочиняла стихи и постоянно распевала их на разные мотивы. Как и Маше, ей тяжело давалась балетная премудрость, но «бог-мартышка» побаивался Катиной мамы, и ей сходило с рук многое, за что попадало другим.

— Ты здесь поживешь немного и отдохнешь. Здесь хорошо, только скучно, правда. Доктор у нас такой душка! Покажи-ка, что он тебе прописал? Вот видишь — «бульон с булком», это очень хорошо. А у меня «макарони», а у Липы Курнаковой живот болит — у нее написано «брюкки», это уже похуже. Отгадай, что это значит? Это значит — брюквенное пюре!

Дверь в палату широко распахнулась, и на пороге с большим подносом в руках появилась Степанида.

— Ура! Обед! — закричали девочки.

— Ну-ка, девочки, нашу лазаретную! Аристова, запевай! — И Катя принялась дирижировать:

Доктор Марокетти
Стареиький, седой,
Все болезии в свете
Лечит ои едой!

Мы будем кушать «брюкки»,
Когда болит живот,
А от «балетиой му́ки»
Излечит иас компот!

В иашем лазарете
Не о чем тужить.
Доктор Марокетти
Зиает, как лечить!

— Тише вы, егозы! — сказала Степанида, ставя на стол поднос и затыкая уши. — Ну, кто тут у нас новенькая? Никак, Маша? Небось, опять налетел, идол проклятый! Ох, будь моя воля, показала бы я ему, как детей малых выламывать! Руки, ноги повывернет — и все ему мало, прости господи! И чего он к тебе-то пуще всех привязался?

— Не знаю, Степанидушка, — грустно сказала Маша. — Наверное, оттого, что я нескладная.

— Нескладная! Пусть он посмотрит сначала, как ты в пиэсах играешь!

При этих словах девочки невольно боязливо покосились на дверь.

— Головушки мои бедные! — жалостно воскликнула Степанида. — Точно вину какую скрывают! А может, посмотрела бы инспектриса, как вы пиэсы разыгрываете, так и похвалила бы.

— Что ты, Степанидушка! Так она и похвалит!

— А я так заслушалась, как вы представляете! Больно хорошо выходит. Особенно Маша. «Дай, — говорит, — поглядеть на тебя в последний раз»! Меня так на этом месте в слезы и бросило!

— Степанидушка, голубушка, душенька! — Маша крепко обняла Степаниду и стала покрывать поцелуями ее толстые щеки.

— Ох, задушила совсем! — отбиваясь, говорила довольная Степанида. — Ну, ешь-ка свой бульон, так-то лучше будет. Ишь, заморили, изверги!

«НЕВОЗМОЖНЫЙ ПАЖ»

С толстым журналом подмышкой учитель истории и географии вошел в класс и, кряхтя, уселся за стол. Это был высокий человек с рыжеватой бородой и красным носом. Его звали Владимир Николаевич Новиков, или попросту «Володя». Раскрыв журнал, он долго водил пальцем сверху вниз по странице. Окончив осмотр журнала, он вытащил из кармана все свое имущество: портсигар, потрепанную записную книжку, носовой платок и наконец большую гребенку. Ею он любил расчесывать на уроке свою всклокоченную бороду.

— Итак, — басом сказал «Володя», — в прошлый раз мы остановились... На чем, бишь, мы остановились?

— На Южной Америке, — подсказала сидевшая на второй парте Вера Топольская.

— На Южной Америке? — почему-то удивился «Володя». — Да, совершенно верно-с... Итак, в густых, непроходимых лесах Южной Америки, — нараспев начал он, — встречаются разнообразнейшие, весьма дорогие сорта деревьев, как-то: бразильское де-

рево, красное дерево, и прочее, и прочее. Южная Америка изобилует прекраснейшими породами пальм, каковы: пальмы масличные, пальмы...

Никто не слушал «Володю». Одни играли в фантики, другие читали, третьи писали родным. Люба Красовская, тоненькая блондинка с капризным лицом, рассказывала своим соседкам интересный сон:

— Вдруг вижу я, будто я в лесу, только будто лес этот в комнате и на деревьях змеи громадные...

— Госпожа Красовская, — расчесывая бороду, прервал ее «Володя», — что вы знаете о Южной Америке?

Люба встала и с возмущением повела плечами:

— Южная Америка... Южная Америка отличается от Северной Америки... Я не могла приготовить урока, Владимир Николаевич, у нас была репетиция к новому балету.

— Но позвольте, — сказал «Володя», — ведь мы еще в прошлую пятницу начали проходить Южную Америку!

— И в пятницу была репетиция, — нимало не смущаясь, ответила Люба.

— Та-ак-с! — мрачно сказал «Володя». — Садитесь, госпожа Красовская.

Люба опустилась на скамейку и как ни в чем ни бывало продолжала свой рассказ:

— ...И вот, иду я по этому лесу, который в комнате, а на деревьях уже не змеи, а «бог-мартышка» — так с ветки на ветку и перепрыгивает...

Слушавшие громко расхохотались. Это было и в самом деле очень смешно. Машенька представила себе Манохина с длинным хвостом, с серой обезьяньей мордочкой, во фраке, перепрыгивающим с дерева на дерево и кричащим: «Сотэ, жетэ, эшапэ!»

— Тише, господа, тише-с!.. — рассердился «Володя». — Что касается животного мира Южной Америки, — снова начал он свои длинные объяснения, — то там водятся особые породы обезьян, а также хищники: ягуары, кугуары, тигры... По ночам они бродят в степях, а днем прячутся в огромных сталактитовых пещерах...

— Владимир Николаевич, а что такое сталактитовые пещеры? — звонко спросила Вера Топольская.

— Сталактитовые пещеры?.. — «Володя» задумался на мгновение. — Это такие большие пещеры... которые имеют сто локтей в длину...

Машенька даже вздрогнула от неожиданности. Как раз недавно она прочитала очень интересную книжку, герой которой во время одного из своих приключений попадает в сталактитовую пещеру. Пещера эта подробно описывалась в книжке. Но возражать «Володе» Маша не стала, тем более что «балетные» слушали его без малейшего удивления. География, равно как и другие науки, мало интересовала их.

«Ах, поскорее бы урок кончился!» с нетерпением думала Маша.

Между тем «Володя», уткнувшись носом в журнал и сердито сопя, водил по нему пальцем.

— Курнакова Олимпиада, — сказал он наконец и сделал ногтем отметку против фамилии Курнаковой.

Липочка Курнакова, толстая рыжеватая девочка с большими серыми, немного навыкате глазами, встала, жеманно озираясь вокруг.

— Какой вы знаете самый большой город в Америке? — спросил «Володя».

Переминаясь с ноги на ногу, как бы перебирая все пять балетных позиций, Липочка обиженно посмотрела на «Володю», точно ее возмущала самая мысль, что она может ответить на подобный вопрос.

— Самый большой город в Америке... Азия, — сказала она нерешительно.

— Гм... — «Володя» привык ко всяким неожиданностям, но все же он с изумлением уставился на Курнакову; расчесанная борода его лопатой торчала вверх. — Подумайте, госпожа Курнакова, — сказал он мрачно.

— Город, город... — пробормотала Липочка, беспомощно озираясь на подруг; от непосильной умственной работы под носом у нее показалась капелька.

— Вытри нос! — громким шопотом сказала Вера Топольская.

— Город Вытринос! — обрадовавшись, выпалила Липочка под громкий хохот всего класса.

Но вот окончился урок географии. Сунув подмышку журнал и звонко высморкавшись, «Володя» зашагал из класса.

— Наконец-то! — облегченно вздохнула Маша и стремглав помчалась к швейцару Ефиму: — Ефим, миленький, скоро поедем? Скоро кареты подадут?

— А ты что, в Большой так торопишься? — хитро сощурившись, спросил Ефим, тот самый огромный рыжий швейцар, который напугал Машу в день ее поступления в училище.

Теперь он был с нею в большой дружбе. Особенно полюбил он ее за то, что она терпеливо слушала его рассказы.

В молодости Ефим служил в артиллерийском полку и, если верить его словам, был свидетелем невероятных происшествий. Многие его рассказы Маша знала наизусть, например про генерала, который в пылу боя не заметил, как была убита его лошадь, и ускакал на ней с поля сражения.

— Да ведь мы сегодня не в Большой! Мы в Малом заняты! Ефим, ну скажи, скоро?

— Ах, в Малом? — притворно удивился Ефим, хотя прекрасно знал, куда должны ехать воспитанницы. — Раньше времени не подадут, а придет время — подадут. Ну, иди, иди, пичуга! — прибавил он, добродушно хлопнув Машу по плечу. — Приготовляйся, скоро поедешь: запрягать пошли.

«Пичугами» Ефим называл младших воспитанниц в отличие от старших — «мамзелей».

Маша была готова раньше всех и первая вскочила в карету. «Солонина», следившая за порядком, собралась было уже сделать ей замечание, но не успела. Вслед за Машей погрузилась вся ее «свита»: Топольская, обе Вари, Семенова и другие. Им предстояло сегодня двойное развлечение — театр, а после театра, разумеется, представление «у комода».

В этот вечер в Малом театре давали драму «Замок Кавальканти». Главную роль — Джиованны — исполняла Надежда Михай-

ловна Медведева. Высокая, красивая, в белом подвенечном наряде, шла она по широкой, устланной коврами лестнице, по обеим сторонам которой стояли пажи, высоко подняв канделябры.

Маша была в правой шеренге. Позабыв обо всем на свете, смотрела она на благородную и несчастную Джиованну. Как ей хотелось спасти ее! Доказать ее невинность! Открыть, кто ее друзья, кто враги!..

В антракте за кулисами воспитанницы жались друг к другу, кутаясь в платки. Как знакомо все было здесь Машеньке! Сколько раз пробиралась она с отцом в его будку по огромной, холодной, полутемной сцене, спотыкаясь об эти канаты, краны, балки! Даже запах масляных ламп и копоти был для нее мил, как будто с ним было нераздельно связано что-то дорогое и родное, от чего начинало больно и в то же время сладко щемить сердце...

То здесь, то там группами стояли актеры. Машенька многих знала в лицо. Вот комик Живокини Василий Игнатьевич — немного сутулый, полный, с широким красным лицом, толстыми губами и красно-сизым, похожим на луковицу носом. Добрые карие глаза смотрели ласково, и добродушная улыбка каким-то особым светом озаряла его смешное лицо. Это был любимец публики: стоило ему появиться на сцене, как зал оглашался хохотом, хотя он еще не успевал произнести ни одного слова. Актеры также любили его. Маша много слышала от отца о его доброте, отзывчивости; о том, что он никогда не зазнаётся, в противоположность другим знаменитым актерам; о том, как он остроумен и весел. В дни его юности кто-то из товарищей сложил о нем песенку, и Живокини нисколько не сердился, когда при нем распевали ее:

Кто это с парой толстых губ
И вроде глупого разини?
Наш комик — Вася Живокини,
Отличный малый: добр, не скуп
И сколько весел, столько глуп...

Живокини о чем-то рассказывал актерам Колосову и Решимову, а те весело смеялись.

Немного поодаль от этой группы — у Маши дух захватило —

в небрежной позе стоял сам Иван Васильевич Самарин. На нем был элегантный горохового цвета костюм; белый крахмальный воротничок подпирал полные, немного обрюзгшие щеки. По его холеному лицу с высоким покатым лбом и большими умными глазами было видно, что в молодости он был необыкновенно красив.

Самарин вполголоса разговаривал с актером Лавровым. Маша невольно подалась вперед, отделилась от подруг и, наклонив по своей привычке голову набок, как зачарованная смотрела на Самарина. Колет, доставшийся ей сегодня, был особенно неудобен: узок в плечах, с короткими рукавами. Руки болтались, как чужие, и надо было все время думать о том, куда их девать. На бледном личике выступали яркие пятна грима, небрежно наложенного театральным парикмахером.

Так прошло несколько минут. Самарин вдруг обернулся и рассеянно посмотрел на Машу.

— Кто это? — спросил он Лаврова.

— Воспитанница Ермолова, — ответил за Лаврова Колосов. Он помнил Машу по своим, хоть и редким, посещениям училища.

Маша не в силах была пошевелиться. «Заметил! Что это значит, боже мой!»

— Александр Федорович, уберите вы этого невозможного пажа, — обратился Самарин к проходившему в эту минуту режиссеру Богданову и кивком указал на Машу.

Режиссер почтительно поклонился. Противоречить Самарину никто в театре не осмеливался.

Как во сне, Маша присоединилась к подругам; как во сне, смотрела продолжение спектакля. Она слышала голос Медведевой, но не понимала ни одного слова. Чувство горькой обиды наполняло ее всю. Неужели она была так безобразна? Безобразнее всех? Вот ведь Надя Лукьянова некрасива, а ничего, танцует, и никто не гонит ее. А она, Маша, со своими мечтами о сцене не может сыграть даже роль бессловесного пажа!

Поздним вечером кареты привезли воспитанниц обратно в училище. Но напрасно девочки собрались «у комода», напрасно то-

ропили Машу и даже сердились на нее — спектакль «у комода» не состоялся.

Все давно уже спали — и соседка Маши справа Варя-первая, и соседка слева Варя-вторая, — а Маша горько рыдала, уткнувшись в подушку.

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА

Прошло три года. Девочки подросли. Они были теперь в среднем классе, и им разрешалось укладывать косы вокруг головы и ложиться спать часом позже. Школа помещалась теперь уже не на Большой Дмитровке, а на углу Софийки и Неглинной. Это было очень близко от Малого театра, а между тем никогда еще он не был так далек от Маши! С того памятного вечера, когда Самарин приказал убрать «невозможного пажа», она больше не появлялась на сцене. С завистью смотрела она на подруг, за которыми время от времени присылала дирекция Малого театра, а трико и колет уже не казались ей таким неудобным нарядом. Зато в Большом театре она бывала гораздо чаще, чем хотелось: то приходилось танцовать «у воды» в балете «Саламандра», то одну из «двенадцати рек» в балете «Дочь фараона».

Новое здание школы было просторнее и удобнее старого. Во дворе был разбит садик, где воспитанницам разрешалось гулять в свободное от занятий время. Окна, выходившие на Софийку, приходились как раз напротив Французской гостиницы, и начальство приказало замазать стекла белой краской, чтобы пепиньерки не переглядывались со своими поклонниками.

У подъезда попрежнему сидел швейцар Ефим и, должно быть, так же пугал своей наружностью новеньких, как когда-то напугал Машеньку. Он немного постарел, усы опустились книзу, а к военным рассказам прибавилось несколько новых. Попрежнему Маше приходилось сносить нападки и издевательства «бога-мартышки» и «солонины». Попрежнему с нетерпением ждала она от воскресенья до воскресенья той радостной минуты, когда ее позовут в

зал для свидания с родными... А там уже дожидалась ее Александра Ильинична в черной кружевной шали, с неизменным узелком в руках. Маша заранее знала — в нем яблоко, пряник, несколько конфеток и сдобная булочка.

Маша шопотом делилась с мамой своими горестями и обидами. Обо всем хотелось ей успеть рассказать: о своих несбывшихся надеждах, о неинтересной школьной жизни, о придирках начальства, классных дам, пепиньерок.

— Нет, не могу, не могу больше, — шептала иногда в отчаянии Машенька, — уйду из школы!

А Александра Ильинична растерянно гладила ее по голове и прижимала к себе, тщетно пытаясь утешить.

Быстро проходил короткий час свидания! Александра Ильинична торопливо вскакивала и, смущенно сунув Машеньке в руки узелок, шептала, показывая глазами на классную даму:

— А ты дай ей конфеток, может она подобрее будет.

Крепко обняв на прощание дочь, она уходила. Кончался праздник, и снова начинались бесконечные, похожие один на другой дни недели.

Только одно за это время изменилось к лучшему — в школе появился новый учитель русской словесности Александр Львович Данилов. Это был уже немолодой человек с добродушным лицом и рассеянным взглядом светлоголубых близоруких глаз. С первых же уроков Маша поняла, что он совсем не похож на других учителей не только в том отношении, что он знал и любил свой предмет, но и в том, что непременно желал передать ученицам свои знания. С каждым уроком он незаметно втягивал их в серьезную умственную работу, развивал в них способность внимательно читать и излагать прочитанное.

В свою очередь, и новый преподаватель сразу выделил Машу среди других воспитанниц. Эта девочка со строгим выражением лица, с умными не по возрасту глазами глубоко заинтересовала его. Он был тронут, видя, как во время уроков она не спускала с него глаз, боясь проронить слово. Если какая-нибудь подруга отвлекала ее внимание, она, не оборачиваясь, отводила ее рукой,

тихо отодвигалась и все так же сосредоточенно продолжала слушать.

Узнав о ее страсти к чтению, Данилов начал носить ей книги— всю школьную библиотеку Маша давно прочла. Однако его собственных книг хватило не надолго. Тогда он стал доставать для нее книги в других библиотеках, приносил ей журналы: «Отечественные записки», «Современник», издававшийся тогда Некрасовым.

Гончаров, Тургенев, Чернышевский печатались на страницах этих журналов. Новый мир открывался перед Машей в поэзии Некрасова, мир, скрытый от нее высокими стенами училища. «Как надо знать и любить свой народ, — думала Маша, — чтобы так писать о нем! Как надо скорбеть о его тяжелой доле, ненавидеть его угнетателей и желать его освобождения!..»

О новых людях, их стремлениях и идеалах, о их борьбе и вере в будущее узнала она из романа Чернышевского «Что делать?» Точно струя свежего воздуха ворвалась вместе с этими книгами в душные классы.

60-е годы были временем необыкновенного оживления общественной жизни, временем, когда вырабатывалось новое миросозерцание, критиковались старые устои.

Царское правительство, ослабленное поражением во время Крымской войны и напуганное крестьянскими восстаниями против помещиков, вынуждено было в 1861 году отменить крепостное право. Однако отмена эта не избавила крестьян от разорения и нищеты. Передовая часть общества очень скоро поняла истинный характер реформы и призывала к революционной борьбе. Волнения охватили студенческую молодежь. Идея служения народу, идея гражданского долга выдвигались на первый план. Люди 60-х годов шли на работу в сельские школы, в земские больницы с одной только мыслью — быть полезными народу. Вера в великую силу освободительного движения, в великое будущее России — вот черты, характерные для людей этого знаменательного десятилетия.

А воспитанницы Театрального училища при Императорских театрах не имели никакого понятия обо всей этой буре новых

идей, охватившей русское общество. И Данилов был первым человеком, через которого донеслись до них отзвуки этой бури. За это на всю жизнь Маша сохранила к нему благодарность.

«ТЕАТР — ОТЕЦ, ТЕАТР — МНЕ МАТЬ»

«У комода» шла трагедия Шиллера «Мария Стюарт».

Машенька, в черной Степанидиной юбке и черной кружевной шали, которую Степанида надевала только по праздникам в церковь, играла роль несчастной шотландской королевы. Она была так увлечена, глубокий грудной голос ее звучал так задушевно, что девочки слушали потрясенные.

Катя Семенова, стоявшая на страже у двери — эта обязанность выполнялась воспитанницами по очереди, — подвигалась все ближе и ближе к комоду и даже стала на табурет, чтобы лучше видеть Машу. Девочки тесным кольцом окружили «сцену» и стояли тихо-тихо, затаив дыхание.

> На плахе всенародно опозорить
> Дерзнула бы она мое чело
> Венчанное? —

спрашивала Маша.

> Дерзнет, не сомневайтесь! —

отвечала Вера Топольская — Мортимер.

> Величие державное она
> Так уронить решилась бы? А месть,
> Месть Франции?

Но Мортимер так и не успел ответить своей королеве, потому что Катя Семенова вдруг слабо вскрикнула и спрыгнула с табурета.

В дортуаре, опершись на спинку одной из кроватей, стояла

сама инспектриса Зинаида Михайловна Никольская и внимательно смотрела на «сцену». На Катин крик она не обратила никакого внимания.

Взвизгнув и позабыв даже поздороваться с инспектрисой, девочки стали разбегаться, спотыкаясь и толкая друг друга. «Актеры» замерли на полуслове, оставшись в тех же позах, как будто мгновенно погрузились в заколдованный сон. Инспектриса стояла на прежнем месте. Когда наконец последняя воспитанница добежала до своей кровати, она спокойно сказала, обратившись к актерам:

— Ну, теперь продолжайте!

Зинаида Михайловна была высокая, полная, еще не старая женщина с седыми, гладко причесанными волосами. Она была добрее всего школьного начальства, и воспитанницы любили ее.

— Продолжайте! — повторила Зинаида Михайловна и дружелюбно кивнула все еще не вышедшим из оцепенения актерам.

Первой очнулась Варя Бороздина, игравшая кормилицу королевы, Анну Кеннеди. Она засуетилась, зачем-то поправила «декорации» — одеяла, лежавшие на перевернутых столах, — шепнула что-то на ухо Маше, и спектакль продолжался. Актеры вновь вошли в свои роли, сперва робко, потом все увереннее — и наконец вовсе забыли о присутствии инспектрисы. Осмелевшие зрители, оставив свои убежища — кровати, снова стали подвигаться все ближе к комоду.

Шла сцена прощания Марии Стюарт со своими прислужницами.

О чем скорбите вы? Из-за чего
Вы плачете? Вам радоваться б иадо,
Что к цели мук моих я приближаюсь,
Что узы разрешаются мои,
Темиица раскрывается — и в славе
На аигельских крылах к свободе вечиой
Возиосится душа...

Откинув с лица черную кружевную шаль, Маша стояла в кругу девочек, опустившихся перед нею на колени. Вся фигура ее ды-

шала гордостью и величием, словно перед зрителями и в самом деле была маленькая королева.

Прощайте все, прощайте навсегда!

Такая вдохновенная скорбь, такое сознание своей правоты и вместе с тем неизбежности смерти светилось в ее глазах, что, казалось, она уже видела себя поднимающейся по ступеням эшафота...

Мертвая тишина стояла в дортуаре. Липочка Курнакова громко всхлипнула. Тут только и зрительницы и актрисы вспомнили о Зинаиде Михайловне. Зрительницы одна за другой — подальше от греха! — бесшумно подвигались обратно к кроватям, актрисы же остались на месте, робко глядя на Зинаиду Михайловну в ожидании суда. Инспектриса молчала, погруженная в свои мысли.

— Я думаю, вам неудобно здесь играть? — спросила она неожиданно. — Да, очень неудобно, — повторила она, отвечая самой себе, потому что актрисы лишились дара речи и стояли, недоуменно поглядывая друг на друга. — Вот что, девочки! (В отличие от всего школьного начальства, Зинаида Михайловна называла воспитанниц не «мадемуазелями» и не «госпожами», а просто «девочками».) Вот что я хочу предложить вам. У нас в училище есть сцена, хоть небольшая, но все же побольше вашей. Есть и декорации, тоже получше... — Она с улыбкой посмотрела на одеяла. Девочки смущенно переглянулись. — И занавес есть... Ну как? Согласны?

— Согласны! Конечно, согласны! — разом закричали очнувшиеся актеры и зрители.

— Тише, тише! — затыкая уши, говорила Зинаида Михайловна. — Уже поздно, все спят. Екатерину Ивановну разбу́дите.

При имени Екатерины Ивановны девочки примолкли и боязливо оглянулись на дверь.

Инспектриса улыбнулась.

— Ну, — сказала она, — значит, договорились? А теперь спать, спать!

Зинаида Михайловна ушла, а воспитанницы долго еще стояли у дверей, посылая ей вслед воздушные поцелуи.

— Настоящая сцена, с занавесом и декорациями! — не сказала, а скорее вздохнула Варя-первая.

— С занавесом и декорациями! — как эхо, отозвалась Варя-вторая.

— Девицы, вы слышали, у нас будет настоящий театр! — делая какие-то невероятные прыжки и пируэты, кричала Вера Топольская.

— «Театр — отец, театр — мне мать, театр — мое предназначенье...» — запела Катя Семенова и, подхватив Машу за талию, закружилась с нею в веселом вальсе. — Маша, что же ты молчишь? Маша! Или ты не рада?

— Рада, Катюша, так рада, что и сказать не могу!

СВИДАНИЕ

Девочки с жаром принялись за устройство театра. Они доставали пьесы, где только могли: и в школьной библиотеке, и через Данилова, и у родных. За короткое время на школьной сцене было дано столько спектаклей, что сама дирекция Малого театра могла бы позавидовать. Здесь шли и «Гроза» Островского, и «Горе от ума» Грибоедова, и «Орлеанская дева» Шиллера, и «Девичий переполох» Виктора Крылова, и «Батюшкина дочка» Шаховского. Во всех этих спектаклях главные роли играла первая актриса «труппы» — Маша Ермолова.

Маша была счастлива. Казалось, это было началом осуществления ее мечты. Но время шло, и она опять начинала сомневаться.

Школьное начальство не придало значения забавам воспитанниц. Инспектриса посмотрела несколько спектаклей, и все осталось попрежнему. Попрежнему зрителями были сами воспитанницы да няньки, да швейцар Ефим, который изредка заходил взглянуть на «пичуг», становившихся уже «мамзелями».

А в школе изо дня в день продолжалась «балетная му́ка», словно сама судьба поставила себе целью наперекор всему сделать воспитанницу Ермолову балериной.

Маша видела, как рушатся ее мечты о драматической сцене, и родители приходили в отчаяние, не зная, как ей помочь.

Но вот неожиданно — это было весной 1866 года, когда заканчивался четвертый год обучения Машеньки в школе — в жизни Николая Алексеевича произошло важное событие.

После смерти главного суфлера Малого театра Петрова на его место был назначен Ермолов. По существовавшим испокон веков правилам, главному суфлеру полагалась четверть бенефиса, то-есть четвертая часть чистой прибыли, оставшейся от спектакля после покрытия всех расходов. Выбор пьес и состава исполнителей для бенефисного спектакля предоставлялся самому бенефицианту, в отличие от других спектаклей, репертуар которых определялся специальными чиновниками министерства двора.

Так перед Николаем Алексеевичем открылась счастливая возможность выпустить Машу на сцену.

— Ермолова, в зал!

— К Маше Ермоловой отец пришел!

— Отец! К Маше!

— Машета, скорей, к тебе отец пришел!

— Маша, тебя отец в зале ждет!

— Один?

— Один!

Девочки, взволнованные не меньше самой Маши, спешили передать ей необычную весть. Отец приходил на свидание редко.

«Не случилось ли чего-нибудь дома?» промелькнула у Маши мысль, пока она мчалась по коридорам, сталкиваясь с воспитанницами, возвращавшимися из зала.

«Мама?.. Боже мой, не заболела ли мама? Она в прошлое воскресенье была такая бледная! А может быть, Аннета, Саша?»

Перепрыгивая через несколько ступенек, Маша спустилась по

лестнице, толкнула дверь и очутилась в зале. Она сразу же нашла глазами Николая Алексеевича и, проскочив мимо прогуливавшейся Екатерины Ивановны, запыхавшись остановилась возле отца.

Николай Алексеевич встал ей навстречу, обнял и поцеловал в лоб. Маша тревожно всматривалась в его лицо. Нет, не похоже было, что он пришел к ней с дурной вестью. Он был одет с особой тщательностью — Маша знала, сколько трудов стоило это Александре Ильиничне; во всей фигуре его чувствовалась торжественность. Глаза смотрели спокойно, и даже тень улыбки, которую в последнее время так редко наблюдали домашние, промелькнула на его лице при виде тревоги дочери.

— Папенька, — все еще волнуясь, спросила Маша, — здоровы ли все? Маменька как? Отчего не пришла?

— Здоровы, все здоровы, Маша, успокойся. Ничего плохого не случилось. Даже наоборот, могу сказать — только хорошее. — Он взял Машу за руку и усадил рядом с собою. — Должен сообщить тебе, Маша, — начал он торжественно, — что теперь я являюсь главным суфлером Малого театра...

— Папенька!

— Да. Начальство распорядилось... вместо Петрова, покойника, царствие небесное!.. — Он смущенно кашлянул и продолжал: — Нам с Витнебеном разрешен бенефисный спектакль, который уже назначен на пятнадцатое апреля. Мы выбрали пьесу Шекспира «Виндзорские проказницы» и водевиль Ленского под названием «Жених нарасхват».

Николай Алексеевич с особым ударением произнес это название и, бросив загадочный взгляд на дочь, вынул из бокового кармана тоненькую тетрадку.

— Вот, — сказал он, подавая ее Маше, — вот этот водевиль. Прочитай его внимательно, Маша, и выучи наизусть роль Феншетты. Я уже говорил с начальством. Оно согласилось выпустить тебя в этой роли.

Несколько мгновений Маша молча смотрела на отца, потом вскочила и крепко обняла его. Неужели она будет играть на сцене Малого театра? Она не могла поверить такому неожиданному сча-

стью. И все это отец! Это он позаботился о ней, он подумал о ней прежде всего!.. Ей так хотелось выразить ему свою любовь и благодарность, но вместо этого она только обнимала его и, плача и смеясь, повторяла:

— Ах, папенька! Ах, папенька!

Николай Алексеевич молчал, растроганный, и ласково гладил дочь по голове.

Шопот удивления пробежал по залу. Что произошло у Ермоловых? Что с Машей? Что это за таинственную тетрадку передал ей отец? Воспитанницы были заинтересованы до крайности. Они рассеянно отвечали на расспросы родных, то и дело оборачиваясь в ту сторону, где сидела Маша с отцом.

«Солонина» тоже несколько раз проходила мимо них, недоумевая, что могло случиться с этой воспитанницей, всегда такой сдержанной и молчаливой.

— Мне пора, Маша, — сказал Николай Алексеевич вставая. — Быть может, фортуна повернет наконец свое колесо в нашу сторону. Ну, бог с тобой, бог с тобой! — прибавил он и, быстро перекрестив дочь, направился к двери. — Да, — он остановился в смущении, — чуть было не забыл! Вот, мамаша посылает тебе гостинцев. — Он вынул из кармана узелок и протянул его Маше.

Она поймала на лету его руку и горячо поцеловала.

«ЖЕНИХ НАРАСХВАТ»

— Маша! Маша!

— Да погоди же ты, Маша!

— Что случилось?

— Куда ты мчишься? Опомнись!

— Боже мой, что с нею, девочки!

— Посмотрите, mesdames, она с нами и разговаривать не хочет!

Прижимая к груди тетрадку, Маша старалась пробраться сквозь кольцо обступивших ее воспитанниц.

— Машенька, что случилось? Расскажи, милая! — умоляла Варя Кудрявцева.

— Ну, уж это слишком! — презрительно подергивая плечами, сказала Люба Красовская. — Не хочет — и не надо! Подумаешь, недотрога!

— Девицы, а Люба-то, Люба! Заважничала, что и не узнать, честное слово!

— Так ведь она теперь не Люба, а Гвадалквивир, разве забыли? — ехидно прыснула Топольская.

— Ха-ха-ха! Верно, Гвадалквивир! Осторожнее, возьмет да и потопит!

— И вовсе не Гвадалквивир, а Рейн! — обиделась Люба.

— Ах, простите, господин Рейн! — Вера церемонно присела перед Любой.

— Да, Рейн! Можете афишу почитать! — кипятилась Люба. — Так и написано: «Рейн — воспитанница Красовская». А про вас даже без фамилий — просто: «Двенадцать разных рек». Вот вам и завидно!

— Девицы, где же Маша? Машу упустили из-за этого Рейна!

Беглянку настигли у дверей дортуара.

— Девочки, милые, я вам все скажу потом, — взмолилась Маша, — вот только прочитаю это! — Она подняла руку с тетрадкой. — А потом все расскажу, честное слово!

— Ну, слышали? — сказала Топольская. — Маша сама обо всем расскажет. И не приставать больше! Русским языком вам говорят! Марш отсюда!

Забравшись в самый дальний угол дортуара, Маша погрузилась в чтение.

«Жених нарасхват». Шуточный водевиль. Перевод с французского. Действие происходит во французской деревне. Всех деревенских молодых людей забрали в солдаты. Остался только крестник писаря Грифонара — Пьеро, на которого прежде местные девушки и смотреть не хотели. Теперь он завидный жених. На него зарятся даже такие почтенные вдовушки, как мельничиха — госпожа Мяу и трактирщица — госпожа Гого.

Маша внимательно прочитала длинные куплеты госпожи Мяу и госпожи Гого.

А вот наконец и Фаншетта!

Ф а н ш е т т а. Здравствуйте, господин Грифонар! В добром ли вы здоровье?

Г р и ф о н а р. Слава богу! Откуда ты, милая Фаншетта?

Ф а н ш е т т а. Из-за угла. Я все слышала, что говорили вам здесь госпожа Мяу и госпожа Гого.

Старухи эти, право,
Просто вышли из границ.
Кто, скажите, дал им право
Обижать здесь всех девиц?
Уж они мужей имели
И хотят еще иметь,
А несчастные мамзели
Почему должны терпеть?

Маша пожала плечами. Неужели ей придется петь эти куплеты? Не может быть, чтобы отец подобрал для нее такую неподходящую роль! Нет, дальше, дальше...

Г р и ф о н а р. За Терезу ты хлопочешь?

Ф а н ш е т т а. Нет, она чересчур проста.

Г р и ф о н а р. Ты Лолотту выдать хочешь?

Ф а н ш е т т а. Нет, она чересчур толста.

Г р и ф о н а р. Лизе ты Пьеро желаешь?

Ф а н ш е т т а. Лиза б вышла не любя.

Г р и ф о н а р. На кого ж ты намекаешь?

Ф а н ш е т т а. Натурально, на себя.

Г р и ф о н а р. Уж смекает о замужестве! Ведь тебе тринадцать лет!

Ф а н ш е т т а. Что ж такое? Сила в чувстве, а до лет тут нужды нет!

Маша в недоумении отодвинула тетрадку. Как могла она играть роль этой разбитной, кокетливой девочки, с которой у нее только и было общего, что тринадцать лет? Она снова взялась за водевиль и уже без всякого интереса дочитала его до конца.

Бойкая Фаншетта не сдавалась и, несмотря на происки госпожи Мяу и госпожи Гого, упорно добивалась своей цели:

Не боюсь, не боюсь
И без вас обойдусь.
Поручусь головой,
Что Пьеро будет мой!

«Что же делать? Боже мой, что же делать? — в отчаянии думала Маша. — Как сыграть эту роль? Ведь у меня ничего не выйдет! Это будет провал!»

«Нет, не стану играть! — решила она. — Откажусь! Будь что будет! Так и скажу папеньке. Он поймет, он все поймет...»

Поздним вечером вокруг Машиной кровати собрались ее ближайшие подруги. Они разделились на две партии: одни считали, что Маше надо играть Фаншетту, другие — что нет.

— Ну, зачем отказываться, пойми! — горячо убеждала ее Варя-вторая. — Ведь неизвестно, когда еще представится такой счастливый случай! Ты хорошо сыграешь, я уверена. Ты не можешь плохо сыграть!

Но Варя-первая с сомнением качала головой:

— Нет, Маша права: эта роль не для нее.

— Откажусь, откажусь! — твердила Маша, даже не слушая, о чем спорят подруги.

Через несколько дней начинались пасхальные вакации; Маша с волнением ждала их. Как примет отец ее отказ? Впервые в жизни решалась она ослушаться его. Это было очень страшно. И чем меньше времени оставалось до вакаций, тем слабее становилась ее решимость.

Но вот наконец она дома. Мама, Аннета, Сашенька! Как соскучилась она по ним, как стосковалась! Она обнимала и целовала маму, потом Сашеньку, потом Аннету, потом снова маму, и снова Аннету, и снова Сашеньку. Говорила им какие-то ласковые, им одним понятные слова, расспрашивала, рассказывала. Школьное начальство вряд ли узнало бы молчаливую, сдержанную воспи-

таннщу Ермолову. Она и сама удивлялась, откуда берутся у нее все эти слова.

Аннета тоже говорила безумолку. Она училась теперь в гимназии, куда ее отдали по совету Самарина.

— Хватит с тебя и одной неудачницы, — решительно сказал он Николаю Алексеевичу, когда тот рассказал ему о желании Аннеты учиться вместе со старшей сестрой.

Аннета немного поплакала и начала ходить в гимназию.

Теперь ей сразу же необходимо было рассказать Машеньке о своих гимназических делах.

Но вот прошла первая радость свидания, и Маша вспомнила о своем решении.

Отец вернулся с репетиции бодрый, даже веселый, — Маша раньше никогда не видела его таким. Он обрадовался ей, поцеловал в лоб — ей показалось, нежнее, чем обычно. Сели за стол, по-праздничному накрытый. Отец повязал вокруг шеи белую салфетку, обед начался.

Но Маша сидела бледная, озабоченная. Она даже не заметила, что мама сегодня приготовила все ее любимые блюда, а на третье — «багдадский пирожок», густо обсыпанный сахаром, румяный и красивый, как никогда.

Александра Ильинична тревожно поглядывала на дочь. Сестры недоумевали: что могло приключиться с Машей?

Кончился обед. Николай Алексеевич долго развязывал салфетку, долго аккуратно складывал ее, искоса поглядывая на Машу.

— Ну, Маша, как роль? Приготовила? — спросил он наконец и поудобнее устроился в кресле, ожидая ответа.

— Папенька, — сказала Маша упавшим голосом и побледнела, — я не буду играть... я не могу играть Фаншетту.

Казалось, если бы молния ударила в дом Ермоловых, вся семья не была бы так поражена.

— Что? Что? — задыхаясь, закричал Николай Алексеевич и вскочил с кресла.

Александра Ильинична невольно подалась вперед, как будто хотела защитить собою дочь.

— Маша, доченька, опомнись! — прошептала она.

Сестры замерли. В глазах Аннеты светилось глубокое удивление и преклонение перед Машиной храбростью. Она даже как-то по-особенному махнула рукой, что означало: «Ай да Маша!»

— Играть не будешь? — Николай Алексеевич стукнул кулаком по столу так, что посуда зазвенела. — Это кто же тебя надоумил? Кто, скажи мне? Или вас этому в школе обучают? — Он закашлялся и упал в кресло.

Маша стояла, опустив голову.

— Так-то отцу за заботу платишь? Не ожидал, не ожидал, Маша!

— Папенька, ведь эта роль совсем не для меня, мне не сыграть ее, папенька! — попыталась было убедить его Маша, но при этих словах гнев Николая Алексеевича вспыхнул с новой силой.

— Не для тебя! — закричал он. — Мала еще рассуждать! Отца учить вздумала! Как сказал, так и будет, слышишь? И чтобы...

Страшный приступ кашля не дал ему договорить. Он покраснел, потом смертельно побледнел и с закрытыми глазами откинулся на спинку кресла. Машенька бросилась к нему и, став на колени, прижалась щекой к его руке.

— Папенька, я буду играть, я разучу роль, я все сделаю, только успокойтесь! Только не сердитесь, папенька!

15 апреля прошел бенефисный спектакль. В водевиле «Жених нарасхват» Фаншетту играла воспитанница Ермолова.

Неуверенным, дрожащим голоском пропела она первые куплеты.

«Исправится, войдет в роль», утешал себя Николай Алексеевич, утирая потный от волнения лоб.

Но дальше пошло еще хуже. Не было в Маше ни игривости, ни кокетства, ни задора Фаншетты. Николай Алексеевич запретил ей гримироваться, и рядом с другими, накрашенными «невестами» она казалась бледной, как смерть. Вдобавок у нее нарывал палец — пришлось завязать его белой тряпочкой, и это очень смущало Машу.

Занавес опустился. Актеры раскланивались, отвечая на жидкие аплодисменты.

— Неудача, неудача, провал! — шептал Николай Алексеевич, но и теперь не хотел сознаться, что дочь была права, отказываясь от роли.

— Да, девчонка нескладная! — громко сказала Медведева, выходя из артистической ложи.

ПРИГОВОР

И опять потянулись для Маши однообразные, серые дни, согретые лишь дружбой и любовью подруг. А дружба с каждым годом все росла и крепла. Ни один спорный вопрос не решался без Маши, ее мнение было законом.

— Ты необыкновенная, Маша! Ты сама не знаешь, какая ты! — шептала по ночам Варя Кудрявцева, поверяя ей на ухо свои тайны.

Подруги верили в талант Маши, и никакие неудачи не могли поколебать этой веры.

— Все равно, — упрямо твердила Варя-первая, — все равно Маша играет лучше всех!

— Лучше всех! — как эхо, повторяла Варя-вторая.

— Лучше всех! — подтверждала Катя Семенова.

Отчего же взрослые не замечают того, что так очевидно для них? Вот над чем не раз задумывались и чего не могли понять девочки. Неужели школьное начальство, которое хоть изредка, но все же посещало их спектакли, не видит, что у Маши есть драматический талант и нет никаких способностей к танцам?

Но школьное начальство не интересовалось этим вопросом. После неудачи в водевиле «Жених нарасхват» оно и думать забыло о воспитаннице Ермоловой.

Время шло. Наступило лето 1869 года. Как всегда, Маша проводила вакации дома. Обнявшись с сестрами, бродила она по за-

брошенному кладбищу. Как знакомо все было здесь! Полуразрушенные памятники со стершимися надписями... Она помнила надписи наизусть. Вот с этой плиты поднималась она, изображая вставшее из гроба привидение. Как давно это было... А между тем мечты ее все еще оставались мечтами. Как мало в течение этих долгих лет приблизилась она к своей цели!

Николай Алексеевич озабоченно вглядывался в грустное лицо дочери. Надо помочь ей. Что делать? Он по опыту знал, как труден путь, который ведет на сцену, но верил, что Маша может стать настоящей актрисой.

И вот наконец, после долгих колебаний, Николай Алексеевич принял решение.

В этот день перед спектаклем он долго приглаживал волосы, долго расчесывал усы и бороду. Несколько раз подряд вынимал он из бокового кармана часы, внимательно смотрел на стрелки, не видя их, и снова опускал часы в карман. Александра Ильинична недоумевала, но спросить ни о чем не осмелилась и только долго потом смотрела вслед увозившей его театральной карете.

В этот вечер в Малом театре шла французская драма «Детский доктор». Ею заканчивался зимний сезон —театр закрывался на лето. Роль «детского доктора» играл Самарин. Рукоплесканиям не было конца. Выждав, когда они смолкли, Николай Алексеевич робко постучал в уборную знаменитого артиста.

Самарин был еще в костюме доктора — во французском кафтане с пелериной и в парике с бантом.

— А-а, Николай Алексеевич! — сказал он немного удивленно, но радушно. — Заходи, заходи, батюшка, милости прошу!

Он указал рукой на стул, а сам, подойдя к зеркалу, начал переодеваться. Движения его были плавны и изящны, а походка так молода, что ему никак нельзя было дать его лет. Между тем ему уже было за пятьдесят...

Путаясь и запинаясь, Николай Алексеевич изложил свою просьбу: прослушать его шестнадцатилетнюю дочь. Быть может, Иван Васильевич найдет ее пригодной для театра.

Самарин был в этот вечер в прекрасном настроении.

— Ну что ж, — сказал он снисходительно, — посмотрим твою дочку, Николай Алексеевич! Привози ее ко мне в Иваньково. Хоть завтра.

— Вы к Ивану Васильевичу? — раздался старческий голос, и в дверях показалась маленькая, сгорбленная старушка в черном платье и черном кружевном чепчике. — Заходите, заходите, я его мать, — сказала она приветливо и, открыв дверь, пригласила войти Николая Алексеевича и Машу.

Просторная, светлая комната была сплошь увешана фотографиями. Вот Самарин, еще совсем молодой, стройный, во фраке, с белым жабо на груди, — это Чацкий из «Горя от ума». Вот он стоит на коленях перед Марией Стюарт, поднося к губам край ее платья, — это Мортимер. А вот храбрый дон Сезар де-Базан в разодранном плаще и измятой шляпе.

У окна, за большим письменным столом, откинувшись на спинку кресла, в шелковом халате сидел, куря сигару, Самарин.

— Прошу, прошу, Николай Алексеевич,— сказал он, протягивая Ермолову руку. — А это дочь? Ну что ж, послушаем! — И сквозь дым сигары он окинул Машу равнодушным взглядом.

Маша дрожала от волнения. Помнит ли Иван Васильевич, что это она — тот самый «невозможный паж», которого он когда-то распорядился убрать со сцены? Узнал ли он ее?

Неуверенным голосом она прочитала монолог из «Орлеанской девы». Кончила. Быстро взглянула на Самарина и опустила глаза. Дверь тихонько приоткрылась, вошла мать Самарина и, сказав Маше что-то ласковое, увела ее к себе.

Николай Алексеевич взволнованно ждал. Прошло несколько томительных минут. Самарин молча положил дымящуюся сигару, потянулся в кресле и развел руками.

— Ну, брат Николай Алексеевич, — сказал он сочувственно, — не могу тебя обнадежить! Ничего из твоей дочки не выйдет. И заниматься с нею не стоит. Только даром время терять. Пусть себе продолжает плясать «у воды».

Тихо и мрачно в доме Ермоловых. Младшие девочки ходят на цыпочках и говорят шопотом, не смея заглянуть в комнату, где, уткнувшись в газету, лежит на диване отец. Александра Ильинична бесшумно, как тень, скользит по квартире, стараясь не загреметь посудой. Украдкой она вытирает слезы.

Одна Маша спокойна. Она сама не понимает, что происходит в ее душе, но она уверена, твердо уверена, что придет время — и, наперекор всему, она станет актрисой. Кто знает, быть может великой актрисой, и уж непременно на сцене Малого театра!





ЮНОСТЬ

ПЕРЕД ВАКАЦИЯМИ

— Ты все уроки приготовила?

— Какое «все»!

— Вот и врешь! Я сама видела, как ты вчера историю зубрила.

— «Зубрила»! Во-первых, это ты зубришь, а я не зубрю!

— Она не зубрит! Слышите, mesdames, ха-ха-ха!

— Тише, девицы, тише! Дайте углубиться в себя и припомнить грехи.

— Ох, уж этот батюшка! Сочиняй ему грехи — и всё тебе тут!

— Аристова, прочитай, душка, какие ты грехи записала, а я тебе свои прочитаю.

— «Ленилась, говорила дерзости...»

— Это все есть. А какой-нибудь особый грех, который тяготит? Mesdames, первые придумайте, ради бога, не будьте эгоистками! Не то как погонит меня батька!..

— «Осуждала, прельщалась мужскими лицами...»

— Ах да! «Прельщалась мужскими лицами»! Merci!

— Аннета, тебе какое платье делают к вакациям?

— Два: одно барежевое, другое сатиновое. Сатинчик прелесть какой! Мы с мамой на дешевых товарах покупали.

— Сколько за аршин?

— Двадцать две копейки. Голубенькая полоска, беленькая полоска, узенькие-узенькие...

— А мне какое платье шьют, просто чудо! Визитное шелковое с розовыми крапинками, в две оборки!

— Девицы, как вы думаете, ко мне пошло бы рубище? Мне очень нравится. Вот если бы я была нищей, я бы обязательно сшила себе рубище из серого кашемира или из газа, как в балете «Пламя любви». Рукава бы сшила широкие, открытые снизу, волосы распустила бы по плечам, глаза кверху, в руках чётки, а на груди большой крест золотой на черном бархате...

— Вот так нищая, ха-ха-ха!

— ...И стояла бы на паперти! Какой-нибудь князь, молодой офицер...

— Гусар?

— Улан?

— Казак?

— Все равно, ну, пускай гусар, только герой какой-нибудь такой поэтичный, увидел бы меня и влюбился...

— Ха-ха-ха! В нищую!

— Девицы, видели, к Мельницкой кузен приходил, гардемарин? Душка какой!

— Кузен! Знаем мы этих кузенов!

— А помните, как Липочкин гусар трубочистом переоделся? Вот потеха была! Весь сажей вымазался, пришел с метелкой! А «солонина» его и узнала. Заметила, когда в театре возле кулис увивался.

— Ну и что ж такого, зато гусар! — сказала Липочка. — Это не то, что гимназист! Фу, я бы на гимназиста и смотреть не стала!

Забравшись в самый уединенный угол дортуара, чтобы не слышать всей этой пустой болтовни, Маша прощалась с подругами. Разлука предстояла недолгая — быстро промелькнут рождественские вакации, — но все же надо было вдоволь наговориться и помечтать вместе.

— Счастливицы вы, девочки! — грустно говорила Варя-вторая.— Завтра вы будете дома, вас ждут родные, близкие... А я? Кому я нужна? Тетя, быть может, и вовсе забыла о моем существовании...

— Не говори так, Варюша, милая! — горячо прервала ее Маша. — Ты всем нужна. Вот дай срок, вырвемся мы на волю из этих стен — и откроется перед нами новая жизнь! И она будет хороша... Ты, Варя, будешь пианисткой — ведь тетя обещала отдать тебя в консерваторию. Вечерами мы будем собираться. Катя будет петь...

— А ты, Маша, ты будешь актрисой, великой актрисой! — перебила ее Варя.

— Ах, девочки, милые, — Маша обняла их, — как хочется жить, как хочется играть! А вот выпустят из училища «фигуранткой»... — Она замолчала, задумалась.

— Будущее, что ты несешь нам? — вздохнула Варя.

Среди житейских бурных волн
Промчишься ты, мой одинокий челн! —

пропела Катя. Это были ее собственные стихи.

— Катя, душенька, почитай дальше!

Найдешь ли ты приют надежный
Иль, бурей занесен мятежной
В непроницаемую мглу,
Ты разобьешься о скалу?

— Ах, девочки, мне и впрямь очень грустно! — продолжала уже в прозе Катя. — Почему-то все у меня наоборот получается. Вот если задумаю что-нибудь и очень, очень жду — никогда не выйдет. А бывает — и не думаешь вовсе, а желание исполнится. Так и теперь! Уж как я ждала вакаций! Соскучилась по маме досмерти!

Никогда, кажется, так не хотелось повидать ее. Ну и пожалуйте, опять гастроли, опять Петербург! Ненавижу я этот Петербург! Что в нем хорошего, не понимаю! А ее все туда тянет.

— Катя, а ты к кому же на вакации? Опять к Медведевой?

— Да, к Надежде Михайловне.

Погруженная в свои мысли, Маша рассеянно слушала подруг. Она и не подозревала, какую огромную роль в ее судьбе должно было сыграть то обстоятельство, что Катина мама уехала в Петербург на гастроли, а Катя собиралась провести вакации у Надежды Михайловны Медведевой.

БОЛЬШОЙ ДОМ

Катя слонялась по большой медведевской квартире и скучала. Ей не раз случалось и прежде гостить у Медведевой — Надежда Михайловна была близкой подругой ее мамы и брала на вакации девочку к себе, когда Екатерина Александровна бывала в отъезде.

Этот большой, шумный дом всегда был полон гостей, всегда жили здесь какие-то племянницы, тетушки, дальние родственницы, старушки-приживалки. Шли бесконечные споры и толки о театре, о пьесах, о ролях, о закулисных делах и интригах.

Муж Медведевой, Василий Алексеевич Охотин, был также актером Малого театра, и ее мать, Акулина Дмитриевна, в молодости была актрисой. Надежда Михайловна и в жизни, как на сцене, постоянно «играла», изображая людей, с которыми ей приходилось встречаться, тонко подмечая и копируя их смешные черты.

«Она не могла просуществовать ни одного часа, чтобы не изобразить галлерею характеров, виденных ею», вспоминал о ней впоследствии знаменитый актер и режиссер Константин Сергеевич Станиславский.

В столовой, где сходилась вся семья, беспрерывно раздавались громкие взрывы смеха, а в промежутках между ними слышался низкий голос что-то «изображавшей» Медведевой.

А Катя жила в этом большом доме своей особой жизнью. То начинала она играть в «города», и тогда каждая комната превращалась в город. Комната Акулины Дмитриевны, с множеством интересных шкатулочек, забавных безделушек, с образами, — это была Кострома. «Людская», где жила кухарка Марья — с горой подушек в розовых ситцевых наволочках, с одеялом из разноцветных лоскутков, с бумажными цветами, — это была Таруса, куда Катя с мамой ездили на лето. А Москва — это была гостиная, с мебелью, крытой темным шелком, с портретами знаменитых актеров на стенах, со стеклянным шкафчиком-горкой, в котором хранились всевозможные подношения, полученные Надеждой Михайловной. Катя подолгу стояла возле шкафчика, сквозь стекло разглядывая золотые венки, серебряные бювары, старинные чашки, фарфоровые фигурки... Кабинет Василия Алексеевича, темноватый и неуютный, с тяжелыми дубовыми стульями, с резными книжными шкафами, с высокими бронзовыми канделябрами, — это был Петербург. Катя не любила этот город. У нее были с ним свои счеты.

То вдруг воображала она, что попала в волшебный замок, и вся квартира, становясь таинственной, мгновенно преображалась. Катя на цыпочках скользила по длинному коридору, не замечая шума и суеты, царивших в доме, то и дело попадаясь кому-нибудь под ноги.

Особенно загадочной казалась ей «буфетная» комната, которая находилась в самом конце коридора. В ней никто не жил, а стояли только два больших буфета. С замиранием сердца Катя приоткрывала дверь «буфетной» и просовывала голову, словно ожидая встретить там злую фею из сказки о спящей красавице. Правда, иногда она встречала там Елизавету Кузьминичну — старушку-родственницу, которая ведала хозяйством у Медведевой. Но старушка совсем не похожа была на злую фею, и в руках у нее было не веретено, а огромная связка ключей, звеня которыми она возилась у буфетов. Елизавета Кузьминична добродушно смотрела на Катю поверх очков и совала ей конфетку или печенье — что попадалось под руки.

Детей в доме не было, и поэтому, когда Катя приезжала, все возились с нею, развлекали, баловали. Особенно дружила она с Аку-

линой Дмитриевной. Всегда опрятно одетая, даже нарядная, в белом кружевном чепчике, старушка сидела в глубоком кресле и вязала на спицах. Катя брала низенькую скамеечку и садилась у ее ног. Спицы быстро мелькали в руках Акулины Дмитриевны. Не глядя на свое вязанье, ровным, тихим голосом рассказывала она разные интересные истории из своей жизни: о том, как во время нашествия французов на Москву театральное училище, воспитанницей которого она тогда была, перевезли в Кострому; о том, как она жила в этом живописном волжском городе, как участвовала в школьных спектаклях, которые давались в губернаторском доме.

Когда на этот раз Катя попала к Медведевой, весь дом был охвачен необычайной тревогой. На 30 января назначен был бенефис Надежды Михайловны. Для этого спектакля она выбрала драму Лессинга «Эмилия Галотти». Роль Эмилии должна была играть Гликерия Николаевна Федотова, роль ее отца Одоардо — Самарин, а роль графини Орсини — сама Медведева.

На репетициях все шло прекрасно: актеры уже освоились со своими ролями, Надежда Михайловна была довольна. И вдруг неожиданный случай разрушил все ее планы! Федотова серьезно заболела, и нечего было и думать, что она сможет участвовать в спектакле. А до бенефиса оставался всего лишь месяц. Медведева была расстроена до крайности. Что придумать? Кем заменить Федотову? Она перебирала в уме всех знакомых молодых актрис и не могла найти подходящую.

Весь дом — и Василий Алексеевич, и Акулина Дмитриевна, и гостившие тетушки и племянницы, и Елизавета Кузьминична, и горничная, и кухарка Марья — все судили и рядили только об этом.

Кате очень надоели все эти разговоры. Прежде любимым ее развлечением были поездки с Надеждой Михайловной по магазинам за покупками. Надежда Михайловна надевала свою бархатную шубку с пушистым собольим воротником и шляпу со страусовыми перьями, и Катя любовалась ею, еще такой красивой, представительной, энергичной. Часто прохожие узнавали знаменитую артистку, останавливались и, провожая взглядом, перешептывались.

А теперь и за покупками Надежда Михайловна стала выезжать очень редко, разве что в маленькую колбасную на Ильинке. В этой узенькой лавочке, славившейся своими товарами, всегда было очень оживленно — сюда ездили со всех концов Москвы. Актеры были неизменными ее посетителями. Под свисавшими с потолка окороками, колбасами, огромными гроздьями сосисок — белых, розовых, красных — велись нескончаемые театральные разговоры. А за прилавком, с большим ножом, в белом переднике, в белой шапочке, с лоснящимся розовым лицом, стоял хозяин, встречавший покупателей, как старых знакомых.

Надежда Михайловна покупала ветчину и сосиски, а Катя укладывала покупки в корзиночку, но уйти удавалось не скоро. Приходили знакомые актеры, и снова начинались расспросы о бенефисе.

— Надежда Михайловна, а не поговорить ли вам с Надей Васильевой? Может, она сыграет? — посоветовал однажды встретившийся им Живокини.

Надежда Михайловна задумалась. Надя Васильева была талантливая молодая артистка, дочь известного актера Сергея Васильева.

— Правда, в драматических ролях ей до сих пор выступать не приходилось, — прибавил Живокини, — однако пусть попробует. Может, и удастся.

— Благодарствуйте, Василий Игнатьич, навели меня на мысль.

«Поеду к Наде Васильевой!» решила Медведева.

В тот же день она отправилась к Васильевой. Все домашние с нетерпением ожидали ее возвращения. Акулина Дмитриевна беспокойно поглядывала на часы, Елизавета Кузьминична гадала на картах, и вышло, что хлопоты кончатся благополучно через бубновую даму; кухарка Марья видела сегодня во сне тесто, а это всегда к добру, особенно под праздник, — одним словом, все приметы сходились на том, что Надя Васильева выручит из беды Надежду Михайловну.

Но Надежда Михайловна вернулась домой мрачнее тучи и от огорчения слегла в постель. Надя Васильева наотрез отказалась играть роль Эмилии Галотти.

— Хоть кол на голове теши, — рассказывала Медведева о своем

разговоре с Надей. — «С меня, — говорит, — хватит моих резвушек да простушек, а драматическая роль — это не по мне». Затвердила — и никаких! Упрямая девчонка!

Катя внимательно прислушивалась к словам Медведевой. И вдруг ее осенила мысль.

— Надежда Михайловна, — сказала она, краснея и запинаясь от волнения, — попробуйте Машу Ермолову!

Медведева с удивлением взглянула на Катю, как будто только что заметила ее присутствие.

— Ермолову? — спросила она припоминая. — Это какую же? Суфлерскую дочку?

— Да, да, Машеньку!

Надежда Михайловна пожала плечами:

— Дика больно, неуклюжа!

Но Катя не сдавалась.

— Надежда Михайловна, душенька, попробуйте только, испытайте! — молила она, бросаясь на шею к Медведевой. — Ну что вам стоит! А вдруг... Ах, вы не знаете, как она играет! Если бы вы только видели... Она дивно, она необыкновенно играет!

— Постой, постой, матушка, да где она играет-то?

— У комода, Надежда Михайловна, и на школьной сцене!

— У комода? — На лице Медведевой изобразилось удивление.— У какого комода? Помилосердствуй, Катюша!

— Да это у нас в дортуаре! Мы всегда раньше у комода играли, а теперь Зинаида Михайловна разрешила на сцене, а у комода мы только репетируем... Надежда Михайловна, милочка, прослушаете Машеньку, да?

Медведева молчала в нерешительности. Видимо, она колебалась. Катя лихорадочно соображала, какой бы еще довод привести в пользу Машеньки. Взгляд ее остановился на Акулине Дмитриевне. Подняв глаза от своего вязанья, старушка с интересом прислушивалась к разговору. В один миг Катя очутилась возле нее и едва не задушила в объятиях.

— Акулина Дмитриевна, душенька, голубушка, — говорила она в промежутках между поцелуями, — помогите мне, уговорите На-

дежду Михайловну! Ну, пожалуйста, милая, хорошая, дорогая, золотая Акулина Дмитриевна!

— А и впрямь, Наденька, отчего не испытать? — сказала Акулина Дмитриевна, тщетно пытаясь освободиться от Катиных объятий и поправляя сбитый набок чепчик. — Может статься, и вправду воспитанница талантливая и с ролью справится. Я помню, в наше время бывали такие случаи. Сколько угодно. Воспитанницы заменяли актрис, и с успехом!

Едва веря ушам, Катя переводила взгляд с Акулины Дмитриевны на Надежду Михайловну и кивала головой после каждого слова своей неожиданной союзницы.

— Вот! — с торжеством прибавила она, когда старушка замолчала, и, не давая опомниться Медведевой, бросилась к ней и, заглядывая в глаза, снова начала молить: — Вы только испытайте, Надежда Михайловна, милая! Только попробуйте! А вдруг...

— «А вдруг»! — передразнила ее Медведева и, взяв за подбородок, ласково потрепала по щеке. — Будь по-твоему, стрекоза. Так и быть, послушаем твою Машеньку. Завтра поеду в училище, поговорю с начальницей.

НОЧЬ

Поздняя рождественская ночь. Спит залитая лунным светом площадь Спаса. Огни давно погашены в домиках. Крепко спят их обитатели, утомившись от дневных трудов и забот.

И только в одном полузанесенном снегом окошке светится тусклый огонек. У стола, перед огарком сальной свечи, склонившись над тетрадкой, сидит Машенька.

— «Три раза снились мне эти драгоценные камни. Я видела, будто каждый камень вдруг превратился в перл. А перлы, вы знаете, означают слезы...» — шепчет она слова роли.

В соседней комнате слышится шлепанье туфель и знакомое покашливание. Маша знает — отец не спит. Он полон тревоги за нее.

Как волновался он сегодня, чуть не плакал от радости, когда она вернулась из училища и рассказала о своем разговоре с Медведевой! А Александра Ильинична только всплеснула руками и долго сидела пораженная. И правда, было чему удивляться. Маша сама не могла догадаться, почему именно на ней остановила свой выбор Медведева. Как это случилось?

Сколько раз на протяжении этого вечера радость сменялась тревогой и сомнением! Вся семья была как в лихорадке. Даже веселая Аннета примолкла и ничего не рассказывала о своих гимназических делах.

— «О, если б гром разразился и помешал мне слушать далее! Голос говорил мне о красоте, о любви, жаловался, что этот день, который решает мое счастье...»

Дверь тихонько приотворяется, и в ней появляется бледное, расстроенное лицо Николая Алексеевича.

— Машенька, — говорит он в промежутках между приступами кашля, — откажись, пока не поздно, дитя мое! Послушай моего совета. Отошлем роль Надежде Михайловне — и дело с концом...

Маша поднимает глаза от тетрадки и долго смотрит на отца, как бы не в силах вырваться из того мира, в котором она только что жила. Наконец слова его доходят до ее сознания.

— Нет, папенька, не говорите так. Не вы ли сами желали этого всей душой? Не вы ли всеми силами старались помочь мне? А теперь, когда представляется случай попасть на сцену, вы же сами отговариваете меня! Нет, я знаю, папенька, вы не хотите этого! Отказаться? Вернуть роль? Да это значит отказаться от всего, чем я жила до сих пор, навсегда оставить мечты о театре... Нет, нет, ни за что! Буду играть! И, быть может, на этот раз судьба будет милостивей ко мне.

Николай Алексеевич растерянно смотрит на дочь. Такой решимости он никогда еще в ней не видел.

«Кто знает, быть может и вправду судьба...» Сомнения вновь уступают место надежде.

— Ах, Машенька! Ах, Машенька! — От полноты чувств он не может больше вымолвить ни слова.

Несколько минут Николай Алексеевич стоит молча, потом осторожно выходит на цыпочках и уже за дверью тихонько бормочет:

— Ну, бог с тобой! Бог с тобой!

Но едва лишь закрывается дверь за Николаем Алексеевичем, на Машу нападает страх. А что, если отец прав? Что, если опять неудача? Быть может, и вправду лучше вернуть тетрадку, не позориться перед Медведевой? Было бы так горько не оправдать ее доверия... Да и чем заслужила его она, никому не известная воспитанница, да к тому же еще такая нескладная на вид? А между тем как ласково обошлась с нею знаменитая актриса! В первую минуту Маша оробела перед ней — такой красивой и величавой, словно сказочная королева. Но страх быстро прошел. Выразительные, живые глаза Надежды Михайловны приветливо смотрели на нее, а говорила она так просто и понятно:

— Прочти внимательно всю пьесу, вдумайся не только в слова роли, но и в то, что скрыто за этими словами, и тогда каждое восклицание, каждая пауза заполнятся содержанием. Помни: ты не только потому вышла на сцену, что это понадобилось автору. Ты должна себе представить, откуда ты пришла, чем жила раньше... Вот эту-то жизнь и принеси с собой на сцену...

Маша запомнила каждое ее слово.

— Завтра сделаем репетицию, — сказала ей на прощанье Медведева, — тогда и решим.

«Нет, нет, не отступлюсь, испытаю судьбу!»

Маша придвигает ближе огарок свечи и, сжав голову руками, в сотый раз повторяет слова роли.

ПЕРВАЯ РЕПЕТИЦИЯ

Катя с самого утра была вне себя от волнения — сегодня решалась судьба Машеньки. Репетиция была назначена на одиннадцать часов. Катя просила Надежду Михайловну взять ее с собой в училище, но та наотрез отказала:

— Сиди-ка ты дома, матушка. Не до тебя теперь твоей подружке. Небось, едва жива от страха.

И вот прошло уже больше трех часов, а Надежда Михайловна все не возвращалась.

«Что же это, боже мой! Отчего так долго? Неужели и на этот раз сорвется?» думала Катя.

Она ежеминутно заглядывала в окошко, забегала к Акулине Дмитриевне, садилась за рояль, пробовала сочинять стихи, но придумала только одну строчку: «Как мне жить, как мне жить одинокой...» Дальше никак не получалось. Почему-то, кроме «кособокой» или «кривобокой», ни одна рифма не приходила ей в голову. Но все же она подобрала мотив и пела эту строчку тоненьким голосом. Выходило так жалостно, что кухарка Марья прослезилась.

— Елизавета Кузьминична, душенька, погадайте на бубновую даму, — попросила она, наткнувшись в своих блужданиях по квартире на старушку-родственницу. — Пожалуйста, миленькая, я так беспокоюсь! На бубновую даму...

Елизавета Кузьминична посмотрела поверх очков на Катю:

— Это почему же на бубновую? Не на бубновую надо, а на червонную!

— Я думала, Машенька бубновая, вы сами говорили... — попробовала возразить Катя.

— Надежда Михайловна — дама червонная, — перебила ее Елизавета Кузьминична тоном, не допускающим возражений, — на нее и гадать надо.

— Ну, пускай на Надежду Михайловну, пускай на червонную — на какую хотите, только погадайте, душечка!

Елизавета Кузьминична гадала медленно, с толком. Она долго тасовала колоду, раскладывала несколько раз карты, каждый раз по-другому. Чего только не предстояло червонной даме! Тут были и хлопоты через казенный дом, и болезнь, и коварные интриги королей и дам. В особенности неистовствовала дама пик. Она так и норовила лечь между червонной и бубновой дамами. От ее происков туго приходилось им обеим. Кто бы это мог быть? Что это была за дама? Катя и Елизавета Кузьминична недоумевали.

— Должно быть, «солонина», — решила наконец Катя.

— Какая солонина?

— Наша классная дама, Екатерина Ивановна. Должно быть, напортить хочет Маше. Она всю жизнь к ней придирается, злющая!

Обе были так увлечены гаданьем, что не слышали, как задребезжал звонок в передней, и очнулись, только когда из гостиной раздались голоса Надежды Михайловны и Василия Алексеевича. Катя бросилась в гостиную. Надежда Михайловна, оживленная, разрумянившаяся с мороза, громко рассказывала о чем-то.

— Куда, куда, стрекоза! Чуть с ног не сшибла! Успокойся, будет играть твоя Машенька!

Медведева звонко поцеловала Катю в щеку.

— Ну так вот, — продолжала она прерванный рассказ, — я думаю, что на этот раз судьба, с помощью моей милой Катюши, направила меня в верную сторону. Я встретила настоящую актрису. Когда она выбежала из-за кулис и низким, грудным голосом, в котором чувствовались слезы волнения, проговорила первые слова: «Слава богу! Слава богу!» — мурашки забегали у меня по спине. Я вздрогнула. Конечно, она еще очень неопытна. Многое плохо, и неверно понято, и некрасиво... В особенности жесты. Но это все пустяки, это придет позднее. Есть главное: талант, сила! Если это не так, значит я ничего не понимаю.

С бьющимся сердцем слушала Катя рассказ Медведевой. Неужели сбудется наконец мечта Машеньки? Неужели пришло время, когда талант ее будет признан всеми — не только подругами, восхищавшимися ее игрой «у комода»? И кто же устроил все это? Неужели она, Катя? Это было непостижимо, как в сказке.

— Ну, друг мой, — сказал Охотин, целуя руку жене, — если дело обстоит так, поздравляю тебя! Твой бенефис спасен!

— Подожди, имей терпение, мой милый, дай досказать, — остановила его Надежда Михайловна. — Не так все просто, как ты думаешь. Я заверила молодую девушку, что она будет играть роль Эмилии, переговорила с начальницей. Та отнеслась к моей просьбе милостиво, но... Все зависит от инспектора репертуара. И вот я прямо из училища — к Бегичеву. Бегичев выслушал меня — и на дыбы.

Возмутился, покраснел, как рак: «Помилуйте! Какой-то воспитаннице играть вместо Федотовой! Да слыханное ли это дело! Пощадите, Надежда Михайловна!» — Она смешно передразнила Бегичева.

Василий Алексеевич засмеялся.

— А я говорю: «Нет, не пощажу! И не просите и не надейтесь, батенька! Все равно добьюсь своего». Кричали мы с ним, кричали — думала, уж совсем не бывать бенефису. Ну, да ничего, подконец поладили. Дал согласие. Скрепя сердце, но все-таки дал!

Медведева замолчала и задумалась, откинувшись в кресле.

Катя подбежала к ней и, опустившись на колени, прижалась щекой к ее руке.

— Надежда Михайловна, вы ангел! — сказала она задыхаясь.

ЗА КУЛИСАМИ

Когда в театре узнали, что роль Эмилии Медведева отдает какой-то неизвестной воспитаннице, поднялась настоящая буря:

— Девчонке, школьнице!

— Суфлерской дочке!

— Роль Федотовой!

— Самой Гликерии Николаевны!

— Пощечина труппе!

— Неслыханная дерзость!

Но Медведеву не поколебали закулисные толки. Не обращая на них никакого внимания, она упорно продолжала заниматься с Машей. А Маша работала с увлечением, со страстью. Работе она отдавала теперь все свободное от школьных занятий время. Едва кончались танцовальные классы, она запиралась в пустом зале и часами перед зеркалом повторяла роль, следя за своими жестами, мимикой, манерами, припоминая мельчайшие замечания Медведевой.

Никогда и не думала она раньше, как трудно научиться владеть руками, добиться того, чтобы не думать об их существовании. Как трудно избежать резкости и угловатости движений, неловкости ма-

нер, добиться полного соответствия между словом и жестом! Теперь только, после уроков Медведевой, поняла она, как важно преодолеть все эти трудности, чтобы стать настоящей актрисой. Как много надо было думать над каждым словом, над каждым жестом!

Иной раз, в изнеможении опустившись на стул, Маша говорила себе, что никогда не сможет исполнить роль Эмилии так, как этого требовала от нее Надежда Михайловна. Но на другой день Надежда Михайловна выслушивала ее, подбадривала, отмечала успехи, указывала недостатки, и работа начиналась снова. Чтобы яснее дать понять своей ученице, чего ей надо избегать, Медведева любила передразнивать ее, но делала это так добродушно и не обидно, что часто обе — и сама она и Маша — не могли удержаться от смеха.

Вскоре репетиции были перенесены со школьной сцены в театр. Вот когда наступило для Маши время тяжелых испытаний! Каждая репетиция была теперь пыткой для нее. Со всех сторон сыпались злые насмешки, долетали обидные слова, всюду встречали ее презрительные взгляды. Скрывать от нее ничего не считали нужным. Стоило ли особенно церемониться с этой девочкой!

Положение Маши стало еще труднее, когда Медведева заболела и поручила занятия с нею Самарину — он был также занят в спектакле в роли Одоардо, отца Эмилии. Знаменитый артист снизошел на этот раз к просьбе Надежды Михайловны и временно принял на себя руководство дебютанткой. Занимался он с нею добросовестно, но неохотно, видимо не веря в успех и удивляясь выбору Медведевой.

Бедная Маша приходила в отчаяние и готова была отказаться от роли. Но каждый раз при выходе из театра глаза ее невольно приковывались к висевшей у подъезда большой желтой афише. В ней объявлялось, что «в пятницу 30 января в пользу артистки госпожи Медведевой будет представлена трагедия Лессинга «Эмилия Галотти». Роль Эмилии Галотти будет играть воспитанница Ермолова».

Эта коротенькая строчка возвращала ей твердость, и она давала себе слово пройти через все испытания, сколько бы их ни было, чтобы достигнуть своей цели.

Утро стояло ясное. Сквозь матовые, разрисованные морозом стекла пробивались красноватые лучи зимнего солнца. Воспитанницы давно уже были в танцовальном зале, и только Маша сегодня была освобождена от занятий. Закутавшись в платок, как во сне бродила она по пустому дортуару. Голова была туманная, и только одна мысль со страшной отчетливостью всплывала в сознании. «Боже мой, боже мой, — вспоминала она холодея, — ведь сегодня пятница, мой дебют!»

Она начинала лихорадочно перелистывать роль.

«Только что я встала на колени, только что начала возносить мое сердце к богу...»

— Нет, не могу, не могу! — шептала Маша, в отчаянии закрывая тетрадку. — Сил моих нет, ничего не понимаю, все забыла... Что-то будет? Неужели провал? Я не перенесу этого! Господи, сделай так, чтобы меня вызвали хоть один раз, один единственный! Больше мне ничего не нужно, больше я ничего не прошу, господи!

Так проходило время. На переменах прибегали подруги, она заговаривала с ними, но тотчас же снова принималась повторять роль. А у подруг были свои огорчения. По каким-то загадочным соображениям, «солонина» наотрез отказалась взять их на спектакль, несмотря на все просьбы, мольбы и слезы. Топольская с помощью верной Степаниды пробралась на квартиру инспектрисы, но Зинаида Михайловна была больна, и Веру к ней не допустили.

Пробило пять часов. Не думая больше ни о чем, Маша бродила по училищу. Из классных комнат доносились голоса преподавателей. «Меридианом называется воображаемая линия...» бубнил густым басом «Володя». Ламповщик зажигал лампы, распространявшие привычный запах копоти и горящего масла. Нянюшки, подобрав подолы юбок, мыли полы. Степанида прибежала проведать Машу, перекрестила ее, поцеловала.

— Ты помолись, — посоветовала она ей, — все не так страшно будет. Павел Степаныч иногда даже к ранней обедне бывало сходит

в свой бенефис... Правда, выпьет еще для храбрости... Царствие ему небесное...

«Солонина» встретила Машу и почти ласково посоветовала ей отдохнуть.

— Да я ничего... не устала, Екатерина Ивановна, не беспокойтесь, — отвечала Маша.

И в самом деле, она почему-то вдруг перестала волноваться. Даже забывала по временам, что сегодня играет.

— Кареты в Малый! — отрывистым басом прокричал Ефим.

Маша остановилась, словно пораженная неожиданностью, стараясь вникнуть, какое отношение имеют к ней эти непонятные, страшные слова. Дрожа и спотыкаясь, она побежала одеваться. Подруги догнали ее на лестнице, наперерыв целовали, крестили, говорили ласковые напутствия, умоляли не волноваться.

Внизу, уже одетая, готовая к отъезду, ждала «солонина».

— Екатерина Ивановна, — бросилась к ней снова Варя Кудрявцева, — мы вас в последний раз умоляем, возьмите нас с собой! Ну что вам стоит, душечка! Мы на колени перед вами встанем... Сжальтесь, Екатерина Ивановна!

Но Екатерина Ивановна была неумолима. Она строго посмотрела на Варю, рукой показала Маше итти вперед и величественно проплыла за нею.

...Ныряя в сугробах, медленно полз театральный рыдван. Сквозь морозный туман виднелись неясные очертания домов. Белые, точно кружевные деревья проплывали мимо. Сумерки сгущались. Фонарщики, приставив лесенки к столбам, зажигали масляные фонари.

Маша вздрогнула от неожиданности, когда кучер осадил лошадей и рыдван, качнувшись немного вперед, остановился перед зданием театра. Она взбежала по лестнице. Чьи-то знакомые руки обняли ее. Это была Александра Ильинична. Слезы волнения стояли в ее добрых глазах.

Вертлявый, развязный блондин парикмахер завил Маше волосы, подкрасил щеки, подвел брови, провел тушью под глазами. Маша взглянула в зеркало и не узнала себя. Неужели это была она? На нее смотрело совсем чужое лицо.

Толстая добродушная костюмерша надела на нее какой-то старый голубой лиф, широкую, причудливого фасона юбку и повела к Медведевой.

Надежда Михайловна сидела перед зеркалом в своей уборной и гримировалась.

— А-а, Маша? — протянула она, увидев ее в зеркале и, медленно обернувшись, удивленно оглядела с головы до ног.

Безобразный наряд делал Машу неузнаваемой.

— Очень мило, очень мило, — сказала Медведева, но не в силах была сдержать улыбку.

Впрочем, она тотчас же спохватилась, встретив страдальческий взгляд Маши, и, взяв со столика вуаль, приколола ее и ловко расправила на Маше.

— Вот так, теперь хорошо. Так и иди, не снимай... Ну, ступай с богом! — И она трижды перекрестила ее.

Та же толстая костюмерша повела Машу за кулисы. По дороге им встретился Самарин. Он был уже в костюме Одоардо. Вероятно, у Маши был очень жалкий вид, потому что Самарин остановил ее и заговорил ласковее обыкновенного:

— Ничего, не надо робеть, все сойдет как нельзя лучше. Все мы когда-то дебютировали. Главное — спокойствие!

Спектакль начался. Шел первый акт; в нем Маша не была занята. Она сидела за кулисами и терпеливо ждала. Оцепенение нашло на нее. Со сцены доносились голоса актеров. Вот Вильде — принц Гонзаго — отдает приказания своему камердинеру, вот он разговаривает с живописцем Конти — Лавровым. Вот входит с бумагами для подписи советник Камилло Рота — актер Колосов.

Первый акт кончился, актеры расходились по своим уборным. На сцене рабочие меняли декорации, что-то двигали, бегали. Раздавался стук молотков.

Но вот начался второй акт. Маша слышала, как после антракта взвился тяжелый занавес. Безумный страх овладел ею. Она вся задрожала, заплакала, начала лихорадочно креститься. Александра Ильинична, дрожавшая не меньше самой Маши, подвела ее к кулисе. «Солонина» поднесла к ее губам стакан воды.

— Бог милостив... — сказала она.

Со сцены доносились голоса, но Маша уже ничего не могла разобрать. С невероятным усилием она прислушалась. Вот Одоардо — Самарин кончает: «Прощай, прощай же, Клавдия!»

Кто-то легонько толкнул Машу в спину — и в то же мгновение она была на сцене. Ей показалось, что она провалилась в какую-то пропасть. Вместо зрительного зала перед глазами ее было огромное черное пятно, а впереди него два сияющих огня.

— «Слава богу, слава богу, теперь я в безопасности! Или он и сюда последовал за мною? Нет, слава богу!»

Маша сама не знала, как хватило у нее сил произнести эти первые слова ее роли. Раздались громкие аплодисменты.

«Что это значит, боже мой!» неясно подумала она и только в следующее мгновение поняла, что аплодисменты относились к ней. «Какое счастье!»

И, точно по волшебству, страх мгновенно исчез. Казалось, она ощутила в себе какую-то таинственную силу. Она была уже не прежняя робкая девочка, она была актриса. Все увереннее становились ее движения, глубже звучал голос...

Она убежала за кулисы. Громкие аплодисменты и вызовы понеслись ей вслед.

В антракте, прислонившись к старой пыльной декорации, она рыдала счастливыми слезами. Вместе с нею плакала Александра Ильинична.

— Успех! — радостно восклицали немногие Машины доброжелатели.

— Успех! — шопотом огорченно повторяли вчерашние враги.

Антракт близился к концу. Мимо Маши прошел какой-то незнакомый ей человек, надушенный, с расчесанными на прямой пробор, напомаженными волосами. Как хозяин, он посматривал вокруг, снисходительно отвечая на поклоны. Это был Пельт, управляющий Конторой московских театров. В нескольких шагах от Маши он остановился, встретившись с актером Вильде.

— Ну что? Говорят, недурно? — спросил он. — Я запоздал немного. Не был еще на спектакле.

— Да, очень недурно, — отвечал Вильде.

— Что же, по крайней мере есть понимание?

— Даже больше! Есть талант.

— Вот как? Ну что ж, очень рад! — Он небрежно поднес к глазам лорнет, разглядывая Машу.

А Маша стояла ни жива ни мертва. Талант! «Есть талант»! Уж не ослышалась ли она? Нет, не ослышалась. Наконец-то произнесено это слово, о котором она осмеливалась мечтать только втайне!

Антракт окончился. Спектакль шел своим чередом. Успех становился все больше, а вместе с ним все счастливее, восторженнее, увереннее становилась Маша.

Вот и конец пятого акта. Эмилия остается со своим отцом Одоардо. Она уже знает, что жених ее убит и что она во власти своего коварного похитителя, принца Гонзаго. Она умоляет отца дать ей кинжал, чтобы избавиться от ожидающего ее позора:

— «О батюшка, зачем вы еще медлите? В прежние времена были примеры, когда отец, чтобы спасти свою дочь от позора, вонзал сталь в ее сердце. Но это подвиги прежних времен. Таких отцов нет уже нынче!»

— «Есть еще, дочь моя! — отвечает Одоардо и закалывает ее кинжалом. — Боже, что я сделал!» — в отчаянии восклицает он, поддерживая умирающую Эмилию.

— «Сломили стебель розы, прежде чем буря разнесла ее лепестки по ветру, — отвечает она. — Дайте мне поцеловать эту отеческую руку».

И буря аплодисментов покрыла последние слова умирающей девушки.

После спектакля Машу вызвали двенадцать раз...

Едва сознавая, что произошло, плача и смеясь от счастья, она тут же на сцене за занавесом бросилась на грудь Одоардо-Самарину.

— Поздравляю, поздравляю, от души рад, — сдержанно сказал Самарин.

Быть может, он был смущен, вспоминая свою ошибку в оценке

дарования «суфлерской дочки», быть может ему казалось, что на долю этой скромной девочки достался слишком большой успех — кто знает?

А Машу уже обнимали другие, на этот раз настоящие отеческие руки.

— Ах, Машенька! Ах, дитя мое! Ах, Машенька! — задыхаясь, повторял Николай Алексеевич, и радостные слезы заливали его бледное, взволнованное лицо.

ПОДРУГИ

Приближалась полночь. Быстро пустели узкие московские улицы. Гулко отдавались на морозе шаги запоздалых прохожих. Погружено в тишину и объято сном было длинное двухэтажное здание на углу Софийки и Неглинной. Тускло горели ночники в опустевших коридорах. Спали в своих дортуарах младшие воспитанницы, отдыхая от бесконечных балетных экзерсисов; спали старшие — пепиньерки—в своих отдельных комнатках; дремал швейцар Ефим, сидя на обычном месте и дожидаясь времени, когда можно будет запереть дверь и уйти в свою каморку под лестницей. И только в одном дортуаре никто не спал. Собравшись в тесный кружок у комода, подруги ждали Машеньку. Весь вечер провели они в томительном волнении. Их не взяли в театр, но всем сердцем они были с нею.

Вот уже семь часов — спектакль начался. Бедная Маша, как ей страшно!.. Вот кончился первый акт. Еще десять, пятнадцать минут — Маша уже на сцене! Как-то встретила ее публика? Только бы не освистали! Нет, этого не может быть, Маша должна победить!

Время идет. Спектакль близится к концу. Вот начался пятый акт.

Девочки знали наизусть от начала до конца роль Эмилии. Им казалось, что они слышат знакомый, низкий, любимый голос:

«...Сломили стебель розы, прежде чем буря разнесла ее лепестки по ветру...»

Еще несколько минут. Спектакль кончился. Хоть бы издали взглянуть, что происходит теперь в театре! Актеры выходят, раскланиваются перед публикой. Ах, раздался ли хоть один голос, вызвавший скромную воспитанницу Ермолову? А быть может, и не один? Быть может, весь зал рукоплещет и со всех сторон несутся крики: «Ермолова! Браво, Ермолова!» — и актеры почтительно расступаются, пропуская вперед их любимую подругу...

А быть может, наоборот, снова неудача, как тогда, в водевиле «Жених нарасхват»! И теперь будет хуже, чем тогда. Сколько насмешек снова обрушится на бедную Машу!.. Нет, нет, лучше не думать. Ждать осталось недолго. Скоро, скоро услышат они скрип полозьев и знакомый старый рыдван остановится у подъезда. Маша вернется — они узнают всё!

Осторожно ступая, в одних чулках пробрались они в коридор, стараясь, чтоб не заскрипели половицы, боясь разбудить кого-нибудь из начальства. Но окна были покрыты таким толстым слоем льда, что как они ни дышали на них, как ни оттирали озябшими пальцами, разглядеть сквозь них ничего не удавалось. Они по очереди взбирались на подоконник и, открыв форточку, выглядывали на улицу. Струя холодного воздуха врывалась в коридор, и не было видно ничего, кроме густого морозного тумана, от которого захватывало дыхание.

Вера Топольская не раз уже спускалась вниз, к швейцару Ефиму, но возвращалась разочарованная. Кареты не было и в помине. Воспитанницы присмирели и сидели тихо-тихо, не разговаривая больше друг с другом. Даже «балетные» и те не спали.

— Едут! Честное слово, едут! — прошептала вдруг Варя-вторая прислушиваясь.

У нее был острый слух, она никогда не ошибалась. Все приникли к окну. Прошло несколько мгновений. Теперь уже ясно слышалось фырканье лошадей, окрик кучера. Заскрипела и хлопнула парадная дверь. Снизу донеслись приглушенные голоса Екатерины Ивановны и Ефима.

Выждав, пока удалились шаги «солонины», девочки бросились навстречу Машеньке.

Румяная с мороза, с заиндевевшими волосами, точно сиянием окружавшими лицо, Машенька быстро бежала вверх по лестнице. От нее веяло холодом, — как будто веселый мороз ворвался вместе с нею с улицы.

— Маша, ну что?

— Машенька, скорее рассказывай!

— Как прошло?

— Вызывали?

— Сколько раз?

— Успех, да?

Подруги окружили Машу, засыпáли вопросами.

— Девочки, милые, — Маша не то смеялась, не то плакала, — хорошо как, боже мой! Мороз, туман, на площади костры горят! Красота какая! Дорогие мои!

— Да ты нам не про костры, ты про дебют расскажи! — чуть не плача, молила Катя Семенова.

— Подождите, девицы, дайте ей дух перевести, раздеться. Видите, она сама не своя. Налетели все разом!

— Да, да, сейчас расскажу, конечно расскажу, боже мой! — Маша засмеялась счастливым, таким необычным для нее смехом. — Ах, девочки, дорогие мои, родные мои, если бы вы только знали, как я счастлива! Я счастливейший человек в мире! Я мечтала, чтобы меня вызвали хоть один раз, — меня вызвали двенадцать раз!

— Ура! — забывая о позднем времени и об опасности, закричала Катя, и все наперерыв бросились целовать Машу.

— Я тебе, тебе всем обязана, Катя!.. — говорила Маша.

Но Катя зажала ей рот рукой и стала целовать куда попало: в глаза, в нос, в щеки.

— Ура! — повторила она. — Да здравствует актриса Ермолова!

— Ура! — приглушенными голосами повторили остальные.

Была уже поздняя ночь, когда все стихло в дортуаре. Воспитанницы крепко спали, уткнувшись в казенные серые одеяла. Не спала

только Маша. Сидя на постели, при тусклом свете ночника, она писала в своем дневнике:

«30 января 1870 года.

День этот вписан в истории моей жизни такими же крупными буквами, как вот эти цифры, которые я сейчас написала. Сбылось то, о чем я пять дней тому назад не смела мечтать. Молитва моя услышана. Я актриса!»

УСПЕХ

Прошла неделя после дебюта. Спектакль «Эмилия Галотти» был повторен в четверг 5 февраля и прошел с не меньшим успехом, чем в первый раз. Маша была счастлива. Подруги ликовали.

А в школе жизнь текла по прежнему, раз навсегда установленному порядку, и положение Маши мало в чем изменилось. Впрочем, «бог-мартышка» теперь уже не осмеливался преследовать ее, как прежде, за балетные неудачи, а «солонина» меньше придиралась и при встрече только удивленно оглядывала Машу с головы до ног, как будто видела ее впервые. Ей, как и всему школьному начальству, все еще не верилось, что эта скромная угловатая девочка, которую они привыкли считать неудачницей, за одну неделю покорила всю театральную Москву.

А Маша ходила как в тумане. В самые горькие минуты неудач она не теряла веры в будущее, и вот теперь, когда начали наконец сбываться ее мечты, она не могла поверить своему счастью.

В ночной тиши, когда попрежнему шептались они с Варей Кудрявцевой, поверяя друг другу свои заветные тайны, Маша вдруг крепко обнимала подругу и спрашивала, глядя на нее блестящими глазами:

— Я ли это, Варюша?

И «курочка» серьезно отвечала:

— Это ты, Маша!

Репетиций в этот день не было, классы закончились рано, и воспитанницы были предоставлены самим себе. Вернувшись из бани, Маша и обе Вари сидели на своих кроватях и читали. Накануне Данилов принес Маше номер журнала «Современник», в котором была напечатана поэма Некрасова «Мороз, Красный нос». Описание любви Дарьи и Прокла, их непрочного счастья, их тяжелой крестьянской жизни глубоко взволновало Машу. Она наслаждалась стихами своего любимого поэта:

Три тяжкие доли имела судьба,
И первая доля. с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына раба,
А третья — до гроба рабу покоряться,
И все эти грозные доли легли
На женщину русской земли...

Чтение ее было неожиданно прервано. С шумом и грохотом, о чем-то споря и ссорясь, прибежали и разом повалились на Машину кровать Вера Топольская и Катя Семенова.

Кровать затрещала и подалась в сторону. Маша вскочила в испуге.

— Что случилось, девочки, ради бога! — воскликнула она.

— Вот, Данилов... — задыхаясь, сказала Катя и достала из-за пояса аккуратно сложенную газету.

— Да, Александр Львович!.. — вырывая газету и тыча ею Маше в лицо, кричала Вера.

— Александр Львович? Что с ним? Что случилось? Да говорите же скорей! — Маша с беспокойством переводила глаза с одной на другую.

Вера с досадой махнула рукой:

— Да нет же, с ним ничего! Он газету тебе посылает...

— Да, «Русскую летопись», вот! —перебила ее снова Катя.

— Девицы, в своем ли вы уме? Постыдитесь! Точно маленькие!— Варя Бороздина подошла и строго посмотрела сначала на одну, потом на другую. — Ну, в чем дело? — сказала она и, отняв у Кати, развернула «Русскую летопись».

— Вот, вот, — в волнении тыча пальцем, кричала Вера, — здесь читай!

— Вслух читай! — едва дыша, повторяла Катя.

— «Спектакль «Эмилия Галотти»... — начала Варя.

— Дальше, дальше, отсюда читай! — перебивая ее, закричали разом Катя и Вера.

Варя снова строго посмотрела на них.

— «Откровенно признаемся, когда мы прочли на афише, что роль графини Орсини взяла на себя сама бенефициантка, а Эмилию Галотти будет играть в первый раз вступающая на подмостки театра шестнадцатилетняя девушка, мы готовы были предсказать полнейшую неудачу...»

— Как бы не так! — вставила Вера.

— «С сомнением, с некоторым даже страхом, — продолжала Варя, — ожидали мы появления Эмилии. Но лишь только вбежала на сцену дрожащая, растерянная, оскорбленная в своем женском достоинстве, в своей любви к молодому графу, — лишь только, говорим мы, вбежала на сцену госпожа Ермолова, словно гора свалилась с плеч...» — Варя перевела дух и посмотрела на Машу, словно не веря и желая убедиться, что это именно она и есть та самая «госпожа Ермолова», о которой написано в газете.

А «госпожа Ермолова» сидела на кровати, поджав ноги и, склонив по своей привычке голову набок, как во сне слушала и силилась понять, о чем читает Варя.

— «Тревожное ожидание сменилось полным спокойствием. Юность, привлекательная наружность, грациозность и рядом с этим простота внешнего выражения самых напряженных чувств, волновавших душу молодой девушки, — все это приковало к госпоже Ермоловой слух и зрение...»

— Не слышно, ничего не слышно — громче читай! — крикнула Липа Курнакова, перепрыгивая через кровати и расталкивая столпившихся вокруг Маши воспитанниц. — Что «приковало»?

— «Слух и зрение». Молчи, Курнакова, не мешай! — сердито огрызнулась на нее Топольская.

— «В порывистом, лихорадочном рассказе об оскорбительных преследованиях принца госпожа Ермолова заставила нас забыть сцену...»

— Слышишь, Маша?

— «...забыть сцену. Дрожь, происходившая, может быть, от смущения при первом появлении на сцену дебютантки, была у нее так натуральна, правдива — самые взыскательные критики не нашли бы что заметить госпоже Ермоловой против сущности понимания ею этой сцены и ее исполнения. А о мелочных недостатках девушки, в первый раз выходящей на сцену, и притом в такой страшно трудной роли, говорить тут нечего. Было бы главное верно и хорошо, а подробности выработаются сами собой...»

— Вот это правильно! — громко сказала Вера.

— Тише! — толкнула ее Катя. — Читай, читай, Варя!

— «Одним словом, первый шаг совершен — и с полным успехом».

— Ура-а-а! Победа!

— Душенька наша, дай я тебя поцелую!

Со всех сторон к Маше тянулись руки и душили в объятиях.

— Тише, девицы! — кричала Варя-первая, потрясая в воздухе газетой. — Это еще не все! Дайте дочитать, замолчите!

— Тише!

— Это не все!

— Дайте дочитать!

— Слушайте!

— Слушайте!

— «...Но, говоря о первых успехах нашей дебютантки, — продолжала Варя, когда все успокоились, — невольно страшишься за ее будущность. Что выйдет из нее? Зависть, невидимые преследования, с одной стороны, восхваления — с другой, а поверх всего растлевающая юные таланты среда, ужасная система, которая сильнее каждого человека в отдельности, то и дело губят у нас дарования в самом зародыше...»

— О чем это он, девицы? Ничего не понимаю! — громко сказала Липа. — Объясните!

— Да замолчи же ты, Курнакова, дай послушать!

— Ну и пожалуйста! А только это непонятно! — Липочка состроила обиженную гримасу и замолчала.

Варя продолжала:

— «Добросовестное служение делу искусства, тяжелый, неуклонный труд, работа долгая, многолетняя спасут вас от опасностей, и мы ничего не желали бы так сильно, как если бы и через десять лет вы сыграли с такою же правдою сцену Эмилии Галотти с матерью, как исполнили ее в этот вечер. Чтобы тот же искренний жар горел в ваших глазах и вызывал в необработанном еще голосе те говорящие сердцу ноты, какие мы слышали в этот памятный для вас вечер. А остальное придет само собою! Берегите эту дорогую искру таланта и вдохновения и при помощи труда смело идите с нею вперед по тернистому пути русского артиста».

Варя кончила. Липа Курнакова открыла было рот, но передумала и ничего не сказала.

— «Работа долгая, многолетняя, — как бы про себя, повторила Машенька, — тяжелый, неуклонный труд, добросовестное служение искусству...» Я знаю — в этом вся жизнь! «Тернистый путь русского артиста...» Я с радостью вступаю на него.

ПОСЛЕ ВЫПУСКА

15 мая 1871 года воспитанница Ермолова была выпущена из училища на службу в драматическую труппу Малого театра с окладом жалованья шестьсот рублей в год.

Спектакль «Эмилия Галотти» шел с неизменным успехом. Однако, несмотря на исключительность дебюта, после которого даже враги должны были признать дарование молодой артистки, театральное начальство упорно держало ее на выходных ролях: Машенька — в «Рабстве мужей», Машенька — в «Карьере», Машенька — в «Бель-этаже и подвале», Луиза — во французской комедии «Ветерок», и т. д. В одной пьесе она должна была в продолже-

ние целого акта молча сидеть на сцене, в то время как другая артистка расчесывала ей волосы, — в этом заключалась вся Машина роль.

А рецензии, относящиеся к этому времени, полны самых злых насмешек над юной артисткой — над ее неуклюжей фигурой, отсутствием грации, монотонностью голоса.

Но Маша смело шла вперед. Она и сама ясно видела свои недостатки. С детства знала она, что ничто в жизни не дается даром, что дело актера — бесконечно трудное дело и что даже великий актер ничтожен без неустанной работы.

И вот часами простаивала она у зеркала, добиваясь пластичности движений, разнообразия в мимике, гибкости и мягкости голоса. Но вся эта работа пропадала напрасно — в мелких, ничтожных ролях невозможно было показать свое дарование, а как добиться большой, настоящей роли, Маша не знала.

Только привязанность Медведевой поддерживала ее в это тяжелое время. Надежда Михайловна стала поручать Маше ответственные роли во всех своих бенефисах. Доставались ей роли и в редкие бенефисы отца, но, к ее огорчению, Николай Алексеевич выбирал большей частью напыщенные мелодрамы, казавшиеся в дни его молодости интересными и содержательными. Так сыграла она «Парашу Сибирячку» — пьесу ходульную и фальшивую, неспособную взволновать ни зрителей, ни исполнительницу. Так досталась ей роль помешанной в «Царской невесте» Мея, очень трудная для начинающей артистки. Однако и на этот раз правдивость и сила ее игры поразили публику.

«Глядя на г-жу Ермолову в сцене помешательства, — писал театральный рецензент «Русской летописи», — можно только удивляться, как эта девушка сумела благодаря лишь художественному инстинкту справиться с этой нелепой ролью... Простота и непринужденность г-жи Ермоловой, задушевность ее интонаций представляются нам дорогим сокровищем, которое надо развивать и беречь...»

Однако театральное начальство не обратило ни малейшего внимания на советы этого рецензента. Словно испугавшись силы, про-

явившейся в этой неопытной девочке, оно продолжало держать ее на ничтожных ролях.

Маша приходила в отчаяние, начинала терять веру в себя.

ИЗ ДНЕВНИКА

27 сентября 1871 года.

Ах, как мне хочется играть, как мне хочется жить!.. Да, я верно предчувствовала, что мне не будет никакой свободы. О, я гораздо связанней, чем в школе. Я нахожусь под тяжелым гнетом, а выбиться из-под него нет сил.

29 сентября.

Вчера не записала день, потому что ночевала у Надежды Михайловны. Утром читала с нею роль Элизы. Теперь я вижу, как я была слаба в этой роли. Дай бог сыграть мне ее хорошенько, а то нынешний год точно какой-то сильный ветер сбил меня с ног — я только и играю одни маленькие роли. Кажется, исполняется желание наших артистов, я совсем отодвигаюсь на задний план. Но Надежда Михайловна говорит: «Терпите и ни на что не обращайте внимания». Я так и делаю. Просить и вымаливать роли я себе никогда не позволю... Как бы это напомнить Самарину, что он обещал дать «Коварство и любовь» в свой бенефис? Забыл он или нет?.. Если и не забыл, так, конечно, не даст... Удивительно, как меняются люди на сцене и дома — и не узнаешь совсем. Самарин дома чорт знает чего не наобещает, а на сцене как зло смотрит... Впрочем, теперь еще ничего, не то что было прежде. Спать еще не хочется. Папаша страшно кашляет. Как бы я желала, чтобы Надежда Михайловна прочла мой дневник! Что она сказала бы?

Лучше бы мне, право, умереть, только бы сыграть «Коварство и любовь».

30 сентября.

Нынче записывать, право, нечего. Ходили в баню, мыли полы у нас — вот все, что было замечательного. Как-то я завтра сыграю?

1 октября.

Ах, как я нынче недовольна собой! Все бы ничего, сыграла Элизу недурно, только в последнем акте соврала, и оттого Шумский опоздал и рассердился на меня. Принимали отлично. Господи, ждала я этого дня с таким нетерпением! Впрочем, что же это? Почти все было хорошо, только Шумский сказал, что лучше бы мне в своих волосах остаться, чем играть в безобразном парике.

Скоро, скоро, должно быть, наступит мой отдых! Скоро я ничего не буду играть. Поскорей бы на новую квартиру, а то такая теснота, что ужас... Какая я дура, боже мой, сколько раз собиралась поговорить откровенно с Надеждой Михайловной и не могу: слова так и замирают на губах...

Эх ты, страсть роковая, бесплодная,
Отвяжись, не тумань головы!

2 октября.

Нынешний день я все училась по-немецки и играла на фортепиано, а вообще он прошел так же однообразно, как и все другие. Скучно так жить. А нет силы, нет воли переменить эту жизнь, а главное, нет характера. Что мне жизнь дает, то я и беру от нее, сама не могу ничего сделать, остаюсь вечно под каким-то тяжелым гнетом, я не дышу свободно.

6 октября.

Насилу додумалась, какое сегодня число, два дня не была дома, оттого и позабыла. В воскресенье пошла к Надежде Михайловне и пробыла у нее до вторника. Нынче я играла «Укрощение». Было очень скучно.

10 октября.

Я нынче так счастлива, так довольна. О блаженный день, я играла «Эмилию Галотти»! Принимали великолепно. Что с Самариным сделалось? Когда мы с ним выходили на вызов, он сказал мне: «Вы были такая интересная, что я заплакал», и после за кулисами поцеловал у меня руку. Неужели я могла его так растрогать? Надежда Михайловна тоже хвалила.

11 октября.

Сижу я дома, читаю «Человек, который смеется», работаю. Надежда Михайловна велела скорей приходить... Боже мой, как много

всегда я хочу сказать ей и как мало всегда говорю!.. Бедная Аннета все учится, учится, и нет конца этому... Спать хочется. Всю жизнь проспишь. Хоть бы влюбиться! Ах, как меня вчера поразил Самарин, я просто этого забыть не могу.

14 октября.

Уже поздно, а мне бы много нужно написать. Высказаться хотя самой себе... Как тяжело у меня на сердце, гнет какой-то... Мне, право, стыдно выйти на сцену... Грустно! Впрочем, что же? Если уж я так поставлена, что мне не играть ничего или играть подобные роли, другого выбора нет. Я знаю, что нужно ждать и терпеть, но нужно тут иметь евангельское терпение, а человеческого мало. Я просто какая-то несчастная жертва судьбы.

16 октября.

Сегодня мы переезжали на новую квартиру. У меня маленькая комнатка. Нынче я уговорилась с папашей отдавать ему каждый месяц двадцать рублей.

31 октября. Воскресенье.

Я прихожу к убеждению, что нет на свете такой дуры, как я. Я всю жизнь буду спать и спать, что за проклятый характер! Сижу по целым дням сложа руки да думаю, должно быть, не придет ли кто-нибудь да не скажет ли: «Не угодно ли вам сыграть «Ошибки молодости» или что-нибудь подобное». Как еще Надежда Михайловна до сих пор возится со мной! Мне пришла в голову мысль написать ей письмо. Что же я ей напишу? Какую исповедь? Ведь я ужасно неоткровенна...

Теперь вся надежда на ее бенефис, и я боюсь, что лишусь этой надежды, потому что она, кажется, хочет дать «Скопина-Шуйского», где мне нет роли... Как долго тогда придется ждать и терпеть!

2 ноября.

Сейчас проходила роль Катерины из «Грозы». Как мне хочется сыграть эту роль! Она просто воскресила бы меня... а то я уж так низко упала... Нужно дать себе слово каждый вечер прочитывать по роли. Непременно нужно... Вот еще сейчас мысль какая в голову пришла: написать роман... За все берусь и ничего не делаю. Мне уже восемнадцать лет... года уходят, а я все еще ничего не сделала...

4 ноября.

Господи, прости, ну как тут не позавидовать? Я сознаю, что это гадко, мерзко, но что делать! Пусть дадут Васильевой 2-й 365 бенефисов в год, я и тогда не позавидую, но только зачем она играет в воскресенье «Ошибки молодости»?

Недавно меня Надежда Михайловна спросила, почему я люблю драматическое искусство. Сознаю ли, что приношу пользу, или меня к этому побуждает тщеславие, аплодисменты... Ей я ничего не могла ответить, потому что серьезно над этим никогда не думала, а попробую ответить себе. Я бы желала, чтобы бедный человек уходил из театра с мыслью, что есть хорошая, другая жизнь, или, сочувствуя страданиям актрисы, он бы забывал о своих страданиях, о своем горе; я бы желала, чтобы он смеялся от души и забывал, что он в театре. Вот почему я люблю искусство. Желаю от всей души приносить пользу, но приношу ли?.. Не знаю. Впрочем, мне не совсем чуждо тщеславие. Я люблю, когда мне аплодируют, если только эти аплодисменты вызваны искренним сочувствием ко мне. Ко всему этому присоединяется чувство удовольствия, когда я на сцене. Незаметным образом я переживаю чужую жизнь.

Так шли трудные годы после блистательного дебюта. Жилось теперь легче, чем прежде. Машенькино скромное жалованье оказалось все же большим подспорьем для семьи. Из подвала переехали в верхний этаж. Лето стали проводить за городом, во Владыкине.

Аннета — Анна Николаевна — зарабатывала уроками. Она окончила гимназию с золотой медалью и училась теперь на Лубянских женских курсах. Целые дни проводила она на лекциях, на уроках, а по вечерам, возвратившись домой усталая, но радостная и оживленная, делилась с сестрой всем, что ее так волновало.

Маша с удивлением смотрела на хрупкую фигурку сестры, энергично расхаживавшей с заложенными за спину руками по их маленькой комнатке, — так ново было для нее все, что она слышала из ее уст.

Глядя вокруг рассеянным взглядом, как будто находясь где-то в

другом месте, Анета рассказывала о том, что она решила посвятить свою жизнь делу женского образования, о том, как оно необходимо, о том, что настала пора освободить женщину и вывести ее из тесных рамок семьи.

— Ты подумай, Маша, — говорила она, — сколько пользы может принести народу женщина-врач или женщина-педагог, сколько сил, способностей пропадает даром! А какое это будет счастье для женщины, когда она, работая наравне с мужчинами, будет сознавать, что она равноправный член общества!

Анета говорила о том, как трудно женщине выйти на самостоятельную дорогу, о том, что предстоит большая борьба, о том, как велика жажда знания у молодых девушек, которые бегут из дому или решаются на фиктивные браки для того только, чтобы получить возможность учиться.

Запершись в комнатке, когда отца не было дома, сестры с жадностью читали запрещенные книги, которые откуда-то приносила Анета. Впрочем, и на отца Анета смотрела теперь смелыми глазами — Николай Алексеевич сам начинал чувствовать, что она постепенно уходит из-под его власти. А Александра Ильинична только вздрагивала от ужаса, когда раздавался звонкий голос Анеты:

— Ты неправ, отец!

Маша с горячим вниманием прислушивалась ко всему, о чем говорила сестра. Казалось, теперь сама жизнь столкнула ее с тем, о чем она в школе имела лишь смутное представление. Но этого было так мало! Так мало знаний дала ей школа! И вот теперь со всем пылом юности принялась она пополнять свои знания. В свободное от репетиций время она посещала лекции по истории, по литературе, искусству.

Саша Наврозов, участник ее детских игр, теперь студент-юрист, познакомил ее со своими товарищами. Это был круг передовой молодежи, близкой к революционному движению 70-х годов.

В центре этого круга был человек, сумевший понять Машу так, как никто еще — она была в этом убеждена — не понимал. Человек, которому тонкое остроумие не мешало серьезно и проникновенно относиться к жизни. Человек, который вскоре стал ее близким дру-

гом. Это был Николай Петрович Шубинский, молодой талантливый адвокат, находившийся в ту пору под надзором полиции за «вольные мысли», которые он высказывал совершенно открыто.

В квартире Ермоловых появились новые люди, зазвучали неслыханные дотоле речи. Николай Алексеевич подозрительно косился на длинноволосых, закутанных, по тогдашнему обычаю, в пледы студентов, подозрительно прислушивался к их разговорам, а потом и вовсе запретил собираться у себя на квартире. Ослушаться отца Маша не решалась, но встречи с друзьями продолжались: летом — во Владыкине, а зимой — на квартире у Веры Топольской, которая попрежнему жила на одном дворе с Ермоловыми.

Почти каждый вечер велись нескончаемые горячие споры о политике, о литературе, об искусстве, о борьбе за свободу. Волна новых, свободолюбивых идей со всей силой захватила Машу Ермолову. Впервые открылся перед нею общественный смысл ее призвания.

ИЗ ДНЕВНИКА

19 января 1872 года.

Была целый вечер у Топольских, потом с одиннадцати до часу всё толковали с Варварой Кудрявцевой о жизни, о наших отношениях с ней, о том, как необходимо развиваться и т. д.

20 января.

Николай Петрович принес мне много книг. Я с жадностью набросилась на чтение, но сначала даже растерялась перед таким большим выбором и просто не знала, за что взяться. Наконец принялась за лекции по международному праву. Как ни странно, они совершенно легко укладываются в памяти.

22 января.

Целый день сегодня читала русскую историю. Биография Мстислава Удалого до слез меня довела — так мне стало жаль его, когда он принужден был бежать от татар. Я уже не говорю о Богдане Хмельницком — тут за весь народ рвалась моя душа.

23 января.

Нынче опять беседовали с Варей — и на этот раз об общественных нуждах, о нищете, о бедности русского народа.

Я своим примером заразила Варю. Собирается заниматься историей, говорит, что она ее очень интересует и что стыдно не знать истории своего народа.

25 января.

Что-то мне сегодня скучно, сердце ноет. Но только это совсем не та скука, которая прежде томила меня, когда я ничего не делала. Напротив, теперь я занята по целым дням и не замечаю, как они проходят...

28 января.

Пробыла я два дня у Медведевой, и в душе моей, как у Эмилии Галотти, «поднялась буря»... Нескончаемые разговоры о театре снова будят во мне актрису...

1 февраля.

Нынче была с Надеждой Михайловной в театре, смотрели «Грозу» с Федотовой. Очень хороши бытовые детали, но, мне кажется, Катерину она не совсем правильно понимает... Быть может, надо играть лаконичнее, без слез...

Господи, неужели мне так никогда и не удастся сыграть эту роль? Нет, кончено! Хватит спать! Буду приставать к Пельту, ко всем, к кому только можно...

6 февраля.

Я недовольна собой. Успех в «Сверчке» немного вскружил было мне голову, но, придя в себя, я увидела, что сыграла далеко не так, как могла бы. А я-то мечтала быть великой актрисой... Впрочем, это не разочарование, нет, буду работать.

10 февраля.

Вдруг неожиданный толчок оторвал меня от занятий. Пришла я как-то вечером к Вере. Были гости. Шубинский сказал мне: «Вы знаете, Марья Николаевна, мы хотим устроить концерт в пользу нуждающихся студентов. Ждали только вас». Я с жаром ухватилась за эту мысль. Написали несколько писем разным артистам... Николай Петрович так интересно говорил. Я не могла слушать его без

волнения. Неужели этот человек стал моим другом? Но дружба ли это? Не обманываю ли я себя?.. Какой хороший был этот вечер у Топольских! Ольга Соколова, всегда такая серьезная, молчаливая, оживилась больше всех, глаза и щеки ее горели, она торопила, радовалась, ликовала... Да, правда, лучше хоть изредка отдаваться подобным порывам, чем закиснуть в обыденной, подлой жизни. Ольга, конечно, радовалась больше всего тому, что в ее домашнюю жизнь, в этот непробудный сон вторглось что-то новое... Не знаю, чем-то кончится этот концерт, но взялись за него горячо.

17 февраля.

Концерт очень удался. Принимали великолепно. Я читала Некрасова, а на бис «Узницу» Полонского.

21 февраля.

Как бы мне хотелось сыграть Катерину... Все только обещают...

24 февраля.

Сегодня я долго гуляла одна. Небо было ясное, звездное. Я смотрела на одну звезду, самую яркую, и думала: пусть она передаст привет моему другу...

2 марта.

Завтра участвую в студенческом концерте. Хотела надеть голубое кашемировое платье с клетчатой отделкой, которое шила мама, но потом передумала — решила, что черное барежевое подходит больше. Надо будет оставить его для концертов...

10 марта.

Победа! Мне обещана роль Катерины! Боюсь поверить своему счастью...

Надежда Михайловна просила притти завтра прочесть с нею «Свадьбу Фигаро».

16 марта.

Выступала на концерте в пользу студентов-техников. Народу было очень много. Вызывали без конца. После концерта подошел ко мне полицмейстер и попросил выйти с запасного выхода. Усадил в свою карету и сам отвез домой. Испугался... Сегодня получила по почте записку: «Ермолова! В вечер 14 числа Вы доставили много и много нам наслаждения. Мы не считаем нужным сдерживать себя

от письменного выявления глубокого уважения к Вашему таланту. Мы уважаем Вас. Студенты Николай Михайлов и Николай Соколов». Меня эта записка очень тронула. Она для меня дороже многих похвал...

Так началась новая полоса в жизни Ермоловой. Почти каждую неделю она участвовала в студенческих вечерах и концертах, и молодежь с горячим нетерпением ждала ее появления. Сборы с этих вечеров тайно шли на политическую пропаганду, на помощь политическим ссыльным, и Марии Николаевне это было хорошо известно. Театральное начальство далеко не всегда разрешало «казенным артистам» выступать на этих концертах, и тогда таинственные три звездочки появлялись на афише вместо фамилии Ермоловой. Но студенты и курсистки прекрасно знали, кто скрывается под этими звездочками.

Стихи Плещеева, Огарева, Полонского, Некрасова звучали в устах Ермоловой как призыв к борьбе, как гимн свободе, как протест против гнета и насилия. Она читала «Идет-гудёт Зеленый Шум» Некрасова, и всем становилось ясно, о каком «Зеленом Шуме» идет речь. Она читала «Похороны», и каждый понимал, что покончивший с собою молодой стрелок был обречен на гибель. Она читала «Реквием» Пальмина, и голос ее звучал как похоронный марш по погибшим революционерам и призывал к борьбе:

Не плачьте над трупами павших борцов,
Погибших с оружьем в руках,
Не пойте над ними надгробных стихов,
Слезой не скверните их прах!
Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
Отдайте им лучший почет:
Шагайте без страха по мертвым телам,
Несите их знамя вперед!

...Январь 1878 года. Концерт в Благородном собрании. Неделю тому назад умер Некрасов. На эстраде — Ермолова, бледная, в траурном платье, с опущенной головой. В руках у нее том «Отечествен-

ных записок». Она молча ждет, пока стихнет гул взволнованных голосов, и наконец поднимает руку. Тишина.

Смолкли поэта уста благородные...
Плачьте гонимые, плачьте голодные,
Плачьте несчастные, сирые, бедные,
Сердце не бьется, так много любившее
И беззаветной любви к ним учившее...

Глубокое горе звучит в могучем голосе, слезы падают на желтую обложку журнала. Дрожь пробегает по залу. Еле сдерживаемые рыдания слышатся отовсюду...

Песне твоей, о страданий певец,
Будет не скоро желанный конец.
Там он, где горе людское кончается,
Там он, где счастья заря занимается...

Это был похоронный марш, под звуки которого молодые сердца хоронили любимого поэта.

На концерте памяти Некрасова, запомнившемся многим современникам, Ермолова явилась в расцвете своего таланта.

У ТОПОЛЬСКОЙ

Тесная квартирка Топольской полна народа. Здесь студенты, курсистки, старые школьные подруги Веры. Здесь Николай Петрович Шубинский, поэт Семен Иванович Васюков, рассеянный и погруженный в свои мысли, здесь актер Лентовский, красивый, стройный юноша с черными вьющимися волосами и черными, как у цыгана, глазами.

Из маленькой столовой выносят лишнюю мебель, сдвигают столы, расставляют стулья. Это одна из тех вечеринок вскладчину, которые часто устраиваются у Веры. Груда пакетов растет на буфете— каждый пришедший приносит свою долю. Сама хозяйка, раскрасневшаяся и оживленная, хлопочет, распоряжается и в то же время внимательно прислушивается к спорам гостей. Из прежней девочки,

задорной и веселой, она превратилась в серьезную, энергичную девушку. Светлые волосы гладко зачесаны назад, и две коротенькие беленькие косички уже не поднимаются торчком кверху, когда она решительно встряхивает головой. Но для подруг это все та же Вера, которая клялась, что «балетные черти» бушуют в душе Манохина или «соленые» — в душе «солонины»...

Она одобрительно кивает, прислушиваясь к пылкой речи, которую произносит маленький белокурый студентик с розовыми, покрытыми светлым пушком щеками...

Взгляд ее вдруг падает на часы. Стрелка показывает девять. «Где же Маша? — вспоминает она. — Все уже в сборе, только она запаздывает. Она должна приехать прямо из театра, с репетиции «Грозы». Наконец-то ей обещана роль Катерины!»

Из соседней комнаты доносятся звуки фортепиано. Это играет Варя Кудрявцева, которая стала настоящей красавицей, с большими темнокарими глазами и тяжелыми каштановыми косами, в два ряда уложенными вокруг головы. Исполнилась мечта ее детства — она учится в консерватории.

Ее слушают с восхищением. Васюков не отрываясь смотрит на нее, и Варя краснеет, встречаясь с ним взглядом. Неожиданно она прерывает игру и с беспокойством прислушивается к голосам, доносящимся из столовой. «Что с Машей? Отчего она не идет? Как прошла репетиция? Ведь Маша так давно мечтала о роли Катерины! Как прекрасно исполняла она ее еще «у комода»...»

— Варенька, сыграйте еще!

— Варвара Михайловна, пожалуйста!

И, стараясь успокоиться, Варя берет несколько шумных аккордов.

Между тем на кухне, напевая вполголоса, Катя Семенова готовит бутерброды. Развернутые пакеты лежат перед ней на столе.

«Девять часов, а ее еще нет. Неужели репетиция так затянулась? Но ведь ничего же не может случиться... Надежда Михайловна говорила, что сам Пельт обещал Маше роль Катерины...»

И, задумчиво улыбаясь, Катя вспоминает, с каким волнением ждала она возвращения Медведевой с первой репетиции «Эмилии

Галотти», как гадала на картах с Елизаветой Кузьминичной и Акулиной Дмитриевной... Надо непременно навестить старушек. Она так давно не была у них...

Но вот наконец слышится знакомый стук в дверь. Подруги окружают Машу, крепко обнимают ее.

— Что так поздно? Все уже собрались, только тебя ждем, милая ты моя! — По старой привычке, Варя Кудрявцева заглядывает ей прямо в глаза.

— Марья Николаевна пришла!

— Наконец-то!

Гости выбегают навстречу Марии Николаевне.

— Машенька, как репетиция? Когда спектакль?

— Мария Николаевна, мы ждем с нетерпением!

Но Мария Николаевна грустно качает головой.

— Репетиции не было, — тихо говорит она. — «Гроза» пойдет десятого в Большом театре, и Катерину снова играет Федотова.

— Не может быть!

— Почему?

— Не знаю... Мне сказали в конторе, что в этот вечер я занята в Малом, в пьесе «Из моря житейского»...

В этой пьесе у Марии Николаевны была очень маленькая роль.

— Господа, надо протестовать!

— Это несправедливо!

В глазах Марии Николаевны неподдельный испуг:

— Прошу вас, господа, ни о каком протесте не может быть и речи! От этого пострадает только Федотова. Не она виновата, что контора снова нарушает свои обещания. Быть может, Федотова не имеет об этом никакого понятия. Я слишком уважаю ее талант и не хочу, чтобы у нее были из-за меня огорчения!

— Успокойтесь, Мария Николаевна, — улыбаясь, говорит Шубинский, — ничего плохого не произойдет, если студенты выразят вам свое сочувствие и уважение.

И снова начинаются шумные споры о том, как заставить театральное начальство сдержать слово, которое дано Марии Николаевне.

Между тем в маленькой гостиной, в тесном углу между окном и фортепиано, слышатся два голоса — женский усталый и мужской уверенно-спокойный:

— Ну что, друг мой Машенька! Не грустите, вы получите эту роль.

— Ах, боже мой, да ведь не в этом дело! Словно стена какая-то выросла передо мною... Стыдно сознаться, но иногда мне кажется, что я готова разлюбить театр. Каждый день я играю старые роли, игранные по сто раз, и театр уже не производит на меня того впечатления, что прежде. С каждым днем он теряет для меня свое обаяние. Я стараюсь убедить себя, что это не так, что это лишь временное, внешнее, но что я могу сделать, если это «внешнее» вторгается в мою жизнь, лишает ее смысла, губит ее призвание! И это теперь, когда я чувствую, что во мне зародилось что-то новое, стойкость какая-то или, я боюсь сказать, сила! А жизнь уверяет меня, что я ни на что не годна, никому не нужна...

— Полно, вы не имеете права говорить и даже думать так о себе! Вы, которую так любят, чье искусство так высоко ценит молодежь! Такая юная, вы нашли уже путь к тысячам сердец! — И Шубинский пожимает ей руки.

— Быть может, я должна уйти из театра? Я не боюсь ни бедности — я ее знаю, — ни труда, ни лишений. Сама не знаю, почему все дается мне труднее, чем другим. Вероятно, потому, что ко всему я невольно отношусь серьезно. Быть может, нужно легче относиться к жизни?

— Вы не похожи на других, Маша! Для вас театр и жизнь — одно и то же. Поверьте мне, вы бы умерли от тоски, если бы бросили сцену. Вы не должны поддаваться этой пришедшей в горькую минуту мысли. Загляните в себя — вы найдете довольно силы, чтобы завоевать свое счастье.

— Да, быть может вы правы, мой милый, милый друг... Вы всегда так ясно судите обо всем, и мне становится легче дышать после разговора с вами...

И долго еще в маленькой гостиной слышатся два тихих голоса, заглушаемых шумом горячих споров.

На другой день весть о том, что роль Катерины снова играет Федотова, а Ермолову «затирают», разнеслась по всему университету — и мгновенно в каждой аудитории, на лестнице, в коридорах загорелись горячие споры.

— Нет, это ясно! Ермоловой не дают играть, потому что знают, как ее любит революционная молодежь! Это заговор против нас, и мы должны ответить на него демонстрацией!

Вот что было решено на самочинно возникавших здесь и там собраниях студентов.

Был выработан план действий. Решено было разделиться на две большие группы: одна должна была отправиться в Большой театр — на «Грозу» с участием Федотовой, другая в Малый — на пьесу «Из моря житейского» с участием Ермоловой. Но где взять деньги на билеты? Студенты брали взаймы, закладывали и продавали вещи...

И вот наступил этот день, о котором долго потом вспоминали московские зрители. Расставаясь на Театральной площади, студенты таинственно перемигивались — одни шли в Большой, другие в Малый театр, и не один плед студента, спешившего в Большой театр, оттопыривался, скрывая трещотку или свистульку.

Если бы посторонний наблюдатель мог находиться в этот вечер одновременно в двух театрах, он был бы поражен, обнаружив полное равнодушие зрителей ко всему, что происходило на сцене. Так прошел первый акт, второй, третий — и вдруг это мнимое равнодушие сменилось в одном театре оглушительными свистками, звуками трещоток, топаньем и стуком, а в другом — такими аплодисментами, что, казалось, стены не выдержат и рухнут, похоронив под собою и зрителей и артистов.

Давно уже в Малом кончился последний акт «Из моря житейского», а публика не расходилась. Крики: «Браво, Ермолова!» неслись из «райка», и актеры с нетерпением и раздражением прислушивались к этой все разраставшейся буре восторга. «Чем могла поразить сегодня публику молодая актриса? Ведь у нее была такая маленькая, ничтожная роль!»

Семнадцать раз поднимался занавес, семнадцать раз взволнованная, растроганная Ермолова выходила на авансцену, а публика продолжала неистовствовать...

Однако роль Катерины Мария Николаевна получила только через два года, и то лишь потому, что Федотова заболела и надолго уехала в отпуск.

Роли ее были распределены между другими актрисами. Катерина досталась Ермоловой, и снова, как перед дебютом, за кулисами поднялась настоящая буря. Снова раздавались вокруг нее злые насмешки, переходившие порой в издевательства; снова встречала она враждебные, завистливые взгляды актрис, оскорбленных дерзостью «девчонки».

Слухи об этих закулисных интригах ходили по всей Москве. В юмористическом журнале «Будильник» появилась карикатура под названием «Закулисная гроза». На рисунке изображена была Ермолова, входящая в полуоткрытую дверь с книгой в руках. Это «Гроза» Островского. Актрисы изо всех сил держат дверь, пытаясь не пропустить Ермолову. Под картинкой надпись: «Ветеранки: Нет, дерзкая, не удастся тебе пройти, не пустим!»

Однако «ветеранкам» пришлось смириться. Ермолова сыграла Катерину, поразив зрителей совершенно новым толкованием этой роли. Актрисы, исполнявшие ее прежде, изображали Катерину и трогательной, и затравленной, и пришибленной, но никому не удалось с такой силой показать ее одиночество в окружающем ее «темном царстве».

В толковании Ермоловой, у Катерины нехватает сил, чтобы бороться с этой средой, но она не подчиняется ей, а побеждает — если не в жизни, то самой своей смертью.

— «Долго ль мне еще мучиться?.. Для чего мне теперь жить, ну для чего? Ничего мне не надо, ничего мне не мило, и свет божий не мил! — а смерть не приходит».

Без слез, сдержанно произносила эти слова Ермолова, и чем сдержаннее была ее игра, тем величественнее в своем горе и одиночестве вырастала перед зрителем душа русской женщины.

ПЕРВЫЙ БЕНЕФИС

Успех «Грозы» изменил отношение труппы к молодой артистке, однако за внешней любезностью она неизменно чувствовала недоброжелательство и плохо скрытую зависть. Начальство попрежнему не баловало ее вниманием. Роль Катерины была единственной крупной ролью, доставшейся ей за все эти годы, да и то приходилось играть ее в очередь с возвратившейся из отпуска Федотовой. Но Мария Николаевна не теряла веры в будущее и упорно продолжала работать.

Пять лет минуло со времени дебюта. Театральное начальство решило, что настала пора предоставить артистке Ермоловой бенефис. Наконец-то явилась возможность выбрать роль по своему желанию и вкусу. Задача, однако, оказалась нелегкой. На чем остановить свой выбор? Как найти роль, которая соответствовала бы ее стремлениям и идеалам? На помощь пришел Сергей Андреевич Юрьев.

Это был человек очень известный среди тогдашней московской интеллигенции. Поэт, переводчик, журналист и ученый, он с горячим интересом относился к каждому явлению общественной, литературной и театральной жизни. Он был страстным любителем театра, придавал ему огромное культурное значение и в соответствии с этим предъявлял к нему серьезные требования.

Сергей Андреевич был постоянным гостем Малого театра. На каждом новом спектакле можно было видеть его высокую согбенную фигуру с зачесанными назад редкими седыми волосами. Всегда он был окружен молодежью — она невольно тянулась к этому старику с юношеской душой. Он казался живым звеном между двумя поколениями. Его любили за бескорыстие, горячность, даже за рассеянность, анекдоты о которой ходили по всей Москве.

О нем рассказывали, что однажды, находясь в гостях у своего приятеля, профессора Николая Ильича Стороженко, он так долго не уходил, что хозяин наконец вынужден был намекнуть на поздний час. Юрьев обрадовался. «Да ведь вам еще и до дому далеко!» сказал он и, дружески взяв хозяина под руку, направился с ним в переднюю. Он был уверен, что Стороженко у него в гостях, и, в

свою очередь, намеревался напомнить о позднем времени засидевшемуся другу...

С первого же появления Марии Николаевны на сцене Юрьев угадал в ней талант. Он познакомился с молодой артисткой и до конца своих дней оставался ее другом и наставником.

...В морозное зимнее утро Стороженко заехал к Юрьеву, чтобы отвезти его к Марии Николаевне. Накануне Юрьев предложил прочитать ей переведенную им пьесу, которая, по его мнению, совершенно подходит к ее таланту и которую она непременно должна поставить в свой бенефис.

Друзья ехали к Марии Николаевне долго — по дороге Юрьев заезжал в несколько домов и каждый раз забывал, что его ждет Стороженко. Только в третьем часу дня они добрались до домика в Спасском переулке. Сергей Андреевич долго возился в передней, снимая шубу, и громко приветствовал могучим голосом хозяйку.

Наконец друзья уселись вокруг самовара, и чтение началось.

Юрьев читал с воодушевлением, и тем не менее пьеса — это был перевод драмы испанского драматурга Лопе-де-Вега — показалась Марии Николаевне мало подходящей. Впрочем, Юрьев не дочитал пьесу до конца. Хлопнув себя по лбу, он сказал неожиданно:

— Да что же это я читаю? Ведь я имел в виду для вашего бенефиса другую пьесу Лопе-де-Вега... В ней вы будете великолепны!

И Юрьев действительно привез Марии Николаевне другую пьесу, и это было как раз то, что она так упорно искала.

Конец XV века. Испанский поселок «Овечий источник». Жители — крестьяне, добродушные и миролюбивые, но высоко ценящие свое человеческое достоинство. Более столетия не знают они крепостной неволи. И вот поселок попадает под власть надменного, жестокого командора дона Фернандо Гомеца. Он издевается над жителями, оскорбляет их. Своими преследованиями он мучает Лауренсию, дочь старшины, — чистую, прекрасную девушку. Во время свадьбы Лауренсии солдаты врываются в поселок, уводят в тюрьму ее жениха, избивают на ее глазах отца. Вне себя Лауренсия бросается на командора, хочет убить его. Но солдаты схватывают ее и уносят.

Народ волнуется. Вечером в доме старшины — отца Лауренсии— крестьяне собираются на тайный совет. Уже слышатся призывы к восстанию против тирана, но более осторожные возражают, пытаясь найти мирный выход из положения. Неожиданно появляется Лауренсия, которой удалось бежать от своего мучителя. Она обращается с пламенной речью к односельчанам, призывая их к восстанию. Воспламененный ее речью народ устремляется к дворцу командора, убивает его и восстанавливает свою свободу.

Таково содержание драмы Лопе-де-Вега «Овечий источник».

Народ — яростный и в то же время добродушный, изображенный с правдивостью и мудростью; благородство, которым проникнута пьеса; образ Лауренсии, сочетавший героизм с нежностью и чистотой, — все это как нельзя более соответствовало вкусам Марии Николаевны. Она горячо принялась за новую роль.

Сергей Андреевич принимал в ее работе самое близкое участие. Подолгу длились их беседы, превращавшиеся подчас в лекции о политической жизни Испании конца XV века.

Когда начались репетиции в театре, Юрьев присутствовал на них неотлучно, и поддержка его была тем более важна для Марии Николаевны, что ей снова пришлось столкнуться с недоброжелательством труппы.

Юрьева упрекали в том, что он губит хорошую пьесу, отдавая главную роль такой молодой артистке. Знаменитый Шумский наотрез отказался участвовать в этом спектакле, и Сергею Андреевичу стоило большого труда добиться его согласия. На репетициях Шумский всячески выказывал Марии Николаевне свою неприязнь, и до ее слуха не раз долетали его язвительные замечания.

В эти тяжелые минуты, когда Мария Николаевна готова была уже отказаться от роли, приходил на помощь Юрьев. Искренне веря в ее талант, он старался поддержать эту веру в ней самой и умолял ее не падать духом.

— Запомните мои слова, Мария Николаевна, — повторял он ей: — этой ролью вы завоюете театр!

...Бенефис был назначен на 8 марта 1876 года, но еще задолго до этого дня студенты дежурили по ночам, чтобы достать билеты.

Публика в этот вечер съехалась в театр рано. В зале чувствовалось оживление. И вот медленно поднялся тяжелый занавес — долгожданный спектакль начался...

В третьем акте Ермолова-Лауренсия, бледная, с распущенными волосами, в изодранном подвенечном платье, появляется на сходке в доме отца:

Трусливыми вы зайцами родились!
Вы дикари, но только не испанцы!
На вольную потеху отдаете
Вы ваших жен и дочерей тому,
Кто их захочет взять. К чему вам шпаги?
Вам веретена в руки!..

...Не помня себя, чувствуя, что еще мгновение — и она задохнется от волнения, от глубокого желания поднять этих людей, передать им свою ненависть к тирану, Ермолова произносила этот страстный монолог. Это была минута, когда весь театр, переполненный людьми, жадно слушавшими каждое ее слово, не отрывавшими глаз от сцены, увидел перед собой не испанскую девушку, обращавшуюся к испанским крестьянам, а русскую, призывавшую русских к борьбе с произволом. И когда отец Лауренсии ответил на ее призыв: «Иду на лютого тирана!» — что-то невиданное и неслыханное началось в стенах Малого театра. Крики «браво» смешивались с революционными возгласами; курсистки, рыдая, обнимали друг друга...

А за сценой, прислонив седую голову к кулисе, слушал и не верил своим ушам Сергей Андреевич. Всего лишь несколько минут назад, здесь же за кулисами, Ермолова, бледная, дрожащая, уверяла его, что не в силах произнести ни одного слова из этого монолога, и просила, чтобы он разрешил ей пропустить хоть те слова, которые ей особенно не удавались.

И вот теперь именно эти слова с огромной силой и страстью вырывались из ее уст...

— Браво, Ермолова!

— Благодарим, Ермолова! Наша Ермолова!

Чей-то молодой голос затянул: «Вперед без страха и сомненья...», сотни других подхватили, и революционная песня, от которой задрожали стекла, разнеслась широко и свободно.

...Студенты остановили карету, в которой возвращалась домой Мария Николаевна, выпрягли лошадей и сами довезли любимую артистку до дому. Разбуженные обитатели Спасского переулка с изумлением смотрели из окон на это необычайное триумфальное шествие. Растерявшаяся полиция даже не пыталась остановить его. Ни полиция, ни театральное начальство, разумеется, не могли ожидать, что пьеса испанского драматурга, умершего много лет назад, станет в исполнении Ермоловой страстным призывом к восстанию.

Впрочем, полиция поспешила исправить свою ошибку: через несколько дней пьесу сняли с репертуара. Она вновь появилась на сцене лишь после Великой Октябрьской революции.

Этот спектакль, доставивший Ермоловой всеобщее признание, показал, что она вступила в пору зрелости — пору, когда ее дарование, раскрывшееся с необычайной силой, сделалось славой и гордостью русского театра.





СЛАВА

МАЛЫЙ ТЕАТР

28 декабря 1805 года главный директор театров Нарышкин представил «всеподданнейший» доклад о необходимости создания в Москве самостоятельной императорской труппы. Мысль эта была одобрена Александром I, и в апреле 1806 года состоялось открытие спектаклей. Однако постоянного здания у труппы не было — в продолжение восемнадцати лет спектакли шли попеременно в разных местах. Лишь в 1824 году они были перенесены в дом купца Варгина на Петровке, и театр, который вскоре перешел в ведение казны, стал называться Малым театром.

То были времена, когда многие богатые помещики содержали собственные труппы, состоявшие из крепостных актеров. Именно

бывшие крепостные актеры и составили значительную часть труппы Малого театра. Впоследствии некоторые из них стали знаменитыми. Крепостным был Михаил Семенович Щепкин — гордость русской сцены; из крепостных был Самарин.

На всем протяжении своего существования Малый театр с его огромными актерскими талантами оказывал могучее влияние на зрителя. Зритель шел в театр, чтобы забыть о собственной беспросветной жизни, об окружавшем его невежестве, произволе, нищете; чтобы в игре великого Мочалова увидеть хотя бы призрак иной, прекрасной жизни; услышать из уст Щепкина призывы к идеалам добра и справедливости, поплакать над его игрой в «Матросе», посмеяться сквозь слезы над его исполнением городничего в «Ревизоре».

В глазах полиции Малый театр был всегда на подозрении. Многие из актеров отнесены были к разряду неблагонадежных и находились под надзором.

«К элементам, которые могут послужить неблагонамеренным людям, чтобы произвести переворот в государстве, должны быть отнесены и театральные представления, — доносил о Малом театре московский генерал-губернатор. — Актер Щепкин, — писал он далее, — на одном из своих вечеров подал мысль, чтобы авторы писали пьесы, заимствуя сюжеты из сочинений Герцена...» Затем указан был адрес Щепкина и прибавлено: «Желает переворотов и на все готовый».

Малый театр воспитывал целые поколения молодежи. Недаром москвичи называли его вторым московским университетом. И действительно, давняя, крепкая дружба связывала университет с Малым театром. Не только студенты, но и ученые, литераторы, общественные деятели были постоянными его посетителями. Связь с Московским университетом поддерживалась и через Общество любителей российской словесности, членами которого состояли многие актеры. Лучшие спектакли становились праздниками культуры и просвещения.

Во все времена не прерывалась и не ослаблялась связь Малого театра с русским обществом. В 60-х годах, когда сквозь стены теат-

ральной школы, в которой училась Маша Ермолова, проникли новые идеи, идеи практического служения народу, когда молодежь пошла на работу в земство, в больницы, в школы, — Малый театр не мог остаться в стороне от нового общественного движения. Прежний, романтический репертуар отошел на задний план; его заменили пьесы, в которых жизнь общества была отражена с реальной, ощутительной силой. В русскую драматургию пришел могучий талант Островского, и Малый театр ответил на это появлением новых великих художников сцены, представителей реалистического направления. Это была эпоха беспримерная по числу замечательных дарований, находившихся одновременно на сцене Малого театра.

Пров Садовский, пришедший на смену великому Щепкину и оказавший большое влияние на развитие русской комедии, Живокини, Шумский, Самарин, Медведева — вот имена предшественников и учителей Ермоловой.

С приходом Ермоловой общественная роль Малого театра получила полную определенность. Он стал школой, в которой молодежь находила ответы на свои запросы. Голос Ермоловой, звучавший с его подмостков и призывавший к борьбе против гнета и насилия, глубоко проникал в сердца зрителей, вызывая в них лучшие чувства и вселяя силу и веру в будущее.

«Малый театр лучше всех школ подействовал на мое духовное развитие, — писал Константин Сергеевич Станиславский, — он научил меня смотреть и видеть прекрасное...»

РАБОТА

В этот вечер в Малом театре давали «Бориса Годунова». Марину Мнишек играла Ермолова. Шли вызовы. Мария Николаевна смущенно раскланивалась. Она была недовольна собой. Давно уже отошла она от этой роли, когда-то такой любимой. В антракте, сидя перед зеркалом в своей уборной, она глубоко задумалась. Далекое детство вспомнилось ей, «сцена у фонтана» в маленьком домике у

церкви Спаса, жалкие горшки с геранью и гвоздикой, изображавшие сад, Саша Наврозов на коленях перед нею, зрители на широком диване — маленькая Саня, мама... Как давно все это было!.. Мама состарилась, Саня уже актриса... Сама она играет на сцене Малого театра, на той самой сцене, на которой впервые из суфлерской будки увидела она вдохновенную игру великих актеров. Сбылась мечта, озарявшая ее трудные детские годы, помогавшая переносить все неудачи, всю серую скуку театрального училища... Она замужем, у нее уже четырехлетняя дочь. Ее муж — Николай Петрович Шубинский, известный адвокат... И письмо, стоившее ей так много душевных сил, письмо, которое незадолго до свадьбы она написала своему будущему мужу, вспомнилось ей:

«...Я хотела во что бы то ни стало завоевать свое счастье, и вот что я придумала: я чувствовала, что такая, как я есть, я не стою вас, что я слабее вас во сто крат... Тогда я сказала себе: до тех пор пока я не дорасту до ясного понимания всех сторон жизни, пока не приобрету своих убеждений, которых не сломит никакая сила, — до тех пор не буду принадлежать ему. Я должна работать над собой. Это будет задачей моей жизни... Исполню ли мою задачу — не знаю...»

Ей казалось, что нужно стать совсем другой — сильной, уверенной в себе, ясно представляющей цель и смысл жизни, для того чтобы быть достойной любимого человека. К семейной жизни, в которую она вступала, она относилась с глубокой серьезностью... Но завоевала ли она свое счастье? Кто знает?..

В дверь постучали. Вошел актер Музиль. Это был тонкий, худощавый человек с нервным лицом и быстрыми изящными движениями. Мария Николаевна обрадовалась ему. Она любила Николая Игнатьевича за доброту, за сердечное отношение к товарищам и ценила его мягкий юмор и тонкую наблюдательность. Но была и другая причина, заставлявшая Марию Николаевну смотреть на Музиля как на друга, — он был женат на Варе Бороздиной, которую она попрежнему нежно любила.

— Сегодня вы были великолепны, Мария Николаевна, — опускаясь в кресло, сказал Музиль.

— Да что вы, полно! Я играла плохо. Из рук вон плохо! — И Мария Николаевна с отчаянием покачала головой.

Музиль засмеялся:

— Вы неисправимы, Мария Николаевна! Ну что мне с вами делать? Одна надежда — завтра вы прочтете в «Русских ведомостях» восторженную статью и успокоитесь и поверите мне, что играли прекрасно! Сознайтесь, так уже было не раз!.. Однако ведь я к вам по делу, Мария Николаевна! Мой бенефис назначен на декабрь. Я долго не мог ничего подобрать, а тут как раз счастье привалило. Представьте себе: Островский только что предложил мне сыграть роль Нарокова — старика-режиссера в его новой пьесе «Таланты и поклонники». Вы знаете эту пьесу?

— Да, читала у Надежды Михайловны.

— Так вот, покорнейшая просьба к вам — сыграйте Негину.

— Негину? Господь с вами, Николай Игнатьевич! Да разве я могу! У меня же ничего не получится! Вы бы лучше Гликерии Николаевне предложили...

— Нет, Мария Николаевна, — мягко, но настойчиво перебил ее Музиль, — я прошу именно вас. Прочитайте пьесу еще раз и подумайте. Вот она, я принес ее вам.

— Да ведь и Александр Николаевич будет недоволен, — нерешительно проговорила Мария Николаевна.

Островский был горячим поклонником таланта Федотовой и лучшие роли в своих пьесах поручал всегда ей. Мария Николаевна большей частью лишь заменяла Федотову.

— Это теперь-то, Мария Николаевна! После того как вы сыграли «Грозу», «Бесприданницу»? Да вы покорили Островского! Он мечтает увидеть вас в этой роли. Я уже говорил с ним. Не отказывайтесь, умоляю вас!

— Хорошо, попробую, — тихо сказала Мария Николаевна. — Дайте мне пьесу.

В тот же вечер, возвратившись из театра, Мария Николаевна принялась за чтение:

«Н а р о к о в. Да ведь твоя дочь — талант, она рождена для сцены!

Д о м н а П а н т е л е е в н а. Для сцены-то для сцены, это точно. Она еще маленькая была, так бывало не выгонишь ее из театра. Стоит за кулисами, вся трясется. Муж-то мой, отец-то ее, был музыкант, на флейте играл, так бывало как он в театр, так и она с ним. Прижмется к кулисе, да и стоит не дышит...»

Мария Николаевна читает и видит себя, стоящую у кулисы и не дыша глядящую на сцену; себя — маленькой девочкой в суфлерской будке, жадно слушающую каждое слово, которое доносится до нее из заколдованного мира сцены...

Грустная история была рассказана в пьесе Островского. Негина — провинциальная актриса, молодая девушка, чистая и благородная, окружена толпой пошлых и грязных людишек, закулисных завсегдатаев, которые считают себя вправе распоряжаться ею, как вещью. Она неизмеримо выше всех этих людей, она верит в высокие идеалы и мечтает построить свою жизнь согласно тем строгим правилам, которые ей внушает ее жених, студент Мелузов. Но жизнь складывается иначе: ей приходится делать выбор между личной жизнью и искусством. От любимого человека, бедного студента, преданного ей всей душой, она вынуждена уйти к богатому помещику Великатову, не любя его, — для того только, чтобы иметь возможность продолжать заниматься своим любимым искусством...

Это была трагедия многих — не об одной Негиной рассказал в своей пьесе Островский.

Да, Музиль был прав, это ее роль! На следующий же день Мария Николаевна дала свое согласие и принялась за работу.

По утрам, с тетрадкой в руках, слегка склонив по привычке голову набок, ходила она своей легкой походкой по гостиной. Время от времени она останавливалась перед большим зеркалом, стоявшим в простенке между окнами, и, задумчиво глядя на свое отражение, повторяла слова роли.

Забившись в уголок гостиной, с куклой в руках, ее маленькая дочка Маргарита выглядывала из-за кресла и, затаив дыхание, следила за матерью. Это было ее любимым занятием...

— «Ах, оставьте меня, пожалуйста! Не нужно мне ваших нравоучений. Я сама знаю, что хорошо, что дурно!» — Мария Николаевна несколько раз повторила эту фразу, в раздражении ударяя сложенной пополам тетрадкой о мраморный подзеркальник.

Маленькая Маргарита с беспокойством прислушивалась.

— Не мешай, пожалуйста! — сердито шептала она на ухо кукле. — Видишь, ничего не выходит у нас...

Но вот Мария Николаевна снова принималась ходить из угла в угол, и Маргарита успокаивалась.

— А вот и вышло! — сообщала она кукле. — Теперь все в порядке.

Однако девочка ошибалась — далеко не все еще было в порядке...

Давно уже Мария Николаевна знала роль наизусть — она выучивала их мгновенно, — но образ Негиной все еще неясно вырисовывался в ее сознании. Откуда она? Как могла вырасти у такой матери, в такой среде? Виновата ли она, а если нет — то кто виноват?

И Мария Николаевна мучилась, ища разгадку. Наконец она решила съездить к своей постоянной советчице и другу Надежде Михайловне Медведевой.

Дверь открыла одна из старушек-приживалок и сообщила, что Надежда Михайловна больна и не выходит. Обеспокоенная, Ермолова прошла прямо в спальню и в недоумении остановилась на пороге. Неодетая, растрепанная, с каким-то странным выражением лица, Медведева сидела перед зеркалом.

— Что с вами, Надежда Михайловна, милая?

Медведева вздрогнула от неожиданности и растерянно посмотрела на Марию Николаевну.

— Да вот видишь, играю, — сказала она, смущенно улыбаясь.— Умирать пора старухе, а я вот все играю. В гробу — и там играть буду...

— Что же это вы играете, Надежда Михайловна?

— Дуру, Машенька, дуру! — И Медведева изобразила улыбку, глупее которой и придумать было невозможно.

Обе — и сама она и Мария Николаевна — так и покатились со смеху.

— Надежда Михайловна, душенька, голубушка, вы все такая же, прежняя! — говорила Мария Николаевна, искренне любуясь и гордясь ею. — Нам всем с вас пример брать надо. Какая вы старуха! Да вы всех нас моложе!

— Ну, ты уж скажешь, — говорила довольная Медведева, — где уж мне теперь! Лучше садись-ка, рассказывай, что в театре. Целую неделю не была. Доктора не пускают.

И, усевшись рядом, как в былые дни, они заговорили о театральных делах. Мария Николаевна рассказала о своей новой роли, о сомнениях, колебаниях. По старой привычке, они вместе принялись за чтение пьесы. И Мария Николаевна снова и снова поражалась тонкости понимания, удивительной меткости, с которой Медведева улавливала едва намеченные черты характеров. Казалось, из тумана выплывали и оживали персонажи пьесы. Она читала реплики Домны Пантелеевны, матери Негиной, — и перед Марией Николаевной, как живая, вставала эта женщина, в сущности добрая и любящая, но насквозь проникнутая мещанством, погруженная в мелкие житейские интересы. И тем яснее становился контраст между нею и дочерью. Она читала реплики Смельской — и тем разительней ощущалась глубокая пропасть между Негиной и этой пустой актрисой.

И все же Надежда Михайловна на этот раз мало могла помочь своей бывшей ученице. Она давно уже отошла от ролей «молодых героинь», теперь ей ближе были характерные, бытовые роли.

— Виновата ли Негина? — спрашивала Мария Николаевна. — Достойна ли она уважения?

— Виновата, конечно, — отвечала на ее сомнения Медведева, — но, как говорится, заслуживает снисхождения. Так уж повелось у нас на Руси, так, наверно, и всегда будет. Трудно нашей сестре, актрисе-то, дорогу себе пробить... Сама знаешь!

Но Мария Николаевна с сомнением качала головой:

— Да, трудно... Однако, если виновата, так ведь и играть не стоит...

— Стоит, Машенька, стоит! По тебе эта роль. Сыграешь, как другим и не снится. Послушай меня, старуху!

Мария Николаевна уехала домой расстроенная. При виде ее озабоченного лица домашние старались не заговаривать с ней, не расспрашивали ни о чем, не занимали никакими делами. Как будто не замечая ничего вокруг, она сидела за столом, рассеянно слушала рассказы мужа о каком-то интересном судебном деле, машинально разливала чай, машинально говорила ничего не значащие фразы.

Звонкий голосок маленькой дочки выводил ее из задумчивости. С тихой улыбкой расспрашивала она обо всех ее делах, о проведенном дне, о прогулках с няней Васильевной, о новой кукле... Потом, как бы спохватившись, наскоро обнимала ее, уходила в свою комнату, курила одну папиросу за другой, бросала их, не докурив, и все думала, думала...

Была уже поздняя ночь. Все в доме давно спали, и только Мария Николаевна без сна лежала в своей постели. Бессвязные отрывки мыслей приходили в голову, мешая уснуть. Вспомнилось холодное недоумевающее лицо мужа, которому она что-то ответила невпопад. Медведева, изображающая дуру, проплыла перед глазами — талант, вот это талант! И характер легкий! С таким характером легче жить, веселее... А вот ей в жизни все достается с таким трудом. Думай надо всем, думай... Так и Негина. Ко всему она подходит строго. Она не может, подобно Смельской, пользоваться в жизни всем, что идет навстречу, не задумываясь, хорошо это или плохо... Но должна ли она похоронить свой талант ради личного счастья? Нет, нет, призвание прежде всего... Разве виновата она в неизбежных сделках с совестью, уступках, жертвах, которые вынуждена приносить ради возможности свободно отдаться любимому делу? «Так повелось у нас на Руси», говорит Надежда Михайловна. Да, так повелось, но не всегда так будет! Не всегда произвол, насилие и несправедливость будут заглушать все чистое, прекрасное и прав-

дивое. Кто может осудить Негину, русскую актрису, за то, что у нее нехватило сил для борьбы? За то, что она должна итти тою же дорогой, что и Смельские, которые недостойны даже называться актрисами? Не ее надо судить, а строй! Негина сдается, но всем своим чистым обликом она протестует против этого строя. Она верна своим идеалам, тем самым идеалам, за которые боролась сама Мария Николаевна — Машенька Ермолова, — о которых долгими зимними вечерами спорили в низких накуренных комнатках Веры Топольской.

Как будто завеса вдруг спала с глаз Марии Николаевны. Она увидела перед собой ту девушку, которую будет играть, и сыграть другую она не могла бы уже ни за что на свете. Она увидела ее отчетливо, ясно, всю, до последнего бантика на платье, до последней оборочки...

И Мария Николаевна уснула счастливая.

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ»

26 декабря 1881 года. Бенефис Музиля. В первый раз исполняется новая пьеса Островского «Таланты и поклонники». На афише — имена лучших актеров труппы. Публика полна ожидания. Театральные завсегдатаи приветствуют друг друга, обмениваются мнениями о предстоящем спектакле. В глубине ложи — сам автор, Александр Николаевич Островский.

Поднимается занавес. Перед глазами зрителей возникают персонажи пьесы: Домна Пантелеевна — мать Негиной; Нароков — старый режиссер, отдавший всю свою жизнь театру; студент Мелузов — жених Негиной; князь Дулебов и Бакин — местные «поклонники талантов», представители высшего провинциального общества, проводящие свой досуг в ухаживаниях за актрисами; богатый помещик Великатов, актриса Смельская и, наконец, сама Негина — Ермолова.

Уже при первом взгляде на это одухотворенное лицо с глазами,

устремленными куда-то вдаль, ясно, что она выше всех этих окружающих ее мелких, пошлых людишек. Она проходит мимо них, не замечая их, погруженная в какую-то иную, свою жизнь. Скромная, простая, искренняя — она так не похожа на них!

Вот в третьем акте, после своего прощального бенефиса, бледная, усталая, она возвращается домой. Благодаря интригам обидевшегося на нее князя Дулебова антрепренер отказывает ей от места. Впереди — полная неизвестность. Устроиться в другой театр трудно. Нужен гардероб, а денег от бенефиса осталось немного...

— «Надоело... Я думала, думала, да и думать перестала».

В цветах, присланных Великатовым, Негина замечает записку. Она читает ее — знаменитая сцена, которую на всю жизнь запомнили люди, видевшие Ермолову в этой роли.

Быстро пробежав записку глазами, она долго стоит бледная, устремив взгляд куда-то в одну точку. Сколько чувств можно прочесть на ее лице! И надежду, и страх перед будущим, и восторг перед широкими просторами, которые открываются перед нею в этом письме...

Но вдруг она вспоминает о другом письме. Его украдкой после спектакля сунул ей в руку Мелузов. Слезы выступают у нее на глазах. Как могла она хоть на минуту изменить своему чувству! Она вслух читает это письмо, полное любви и преданности:

— «Если ты найдешь минуты две-три свободных, так выбеги в ваш садик... душа полна через край, сердце хочет перелиться...»

С такой нежностью, с такой тоской произносит она эти слова, что, кажется, никогда еще этот человек не был ей так дорог и близок, как в эту минуту.

В зрительном зале слышатся приглушенные всхлипывания женщин. Мужчины украдкой смахивают слезы...

Ермолова долго молчит, как бы в оцепенении.

— «Ну-ка, прочти другое», — тихо говорит Домна Пантелеевна.

Ермолова выпрямляется и, точно стряхнув с себя что-то тяжелое, начинает читать:

— «Я полюбил вас с первого взгляда. Видеть и слышать вас — для меня невыразимое наслаждение... — Она останавливается на

мгновение, потом продолжает: — А счастье мое, о котором я мечтаю, обожаемая Александра Николаевна, вот какое: в моей усадьбе, в моем роскошном дворце, моих палатах есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная с меня, рабски повинуется. Так проходит лето. Осенью мы с очаровательной хозяйкой едем в один из южных городов, она вступает на сцену в театре, который совершенно зависит от меня, вступает с полным блеском...»

По мере того как Ермолова читает, голос ее крепнет, и наконец, когда она доходит до этих слов, говорящих о ее блестящем артистическом будущем, низкие грудные ноты звучат в нем и проникают в сердца зрителей. Ее большие карие глаза загораются каким-то необыкновенным блеском. Вся ее стройная фигура точно вырастает... На сцене перед зрителем уже не робкая девушка, нет, — актриса, вдохновенная и величественная!

— «Да что же это такое? Кто же это ему позволил?» — говорит она как бы во сне, как бы еще не сознавая, что с ней происходит.

— «Что позволил?» — спрашивает Домна Пантелеевна.

— «Да так... полюбить меня», — неуверенно, с расстановкой произносит Ермолова.

И зритель понимает, какая борьба происходит в ее душе. Вот когда она должна решить, жертвовать ли своей любовью для сцены!

В конце третьего акта она с помощью Мелузова выгоняет наглого и циничного Бакина...

Актер Южин исполнял эту роль. Впоследствии он писал, что ненавидел себя за то, что ему приходилось оскорблять беззащитную, одинокую девушку, и всеми силами старался скрыть от зрителя то чувство полного удовлетворения, которого никак не мог испытывать Бакин.

«Каюсь, с этой ролью я слиться совсем не сумел. Причиной этого была исключительно Мария Николаевна. Как светла и прекрасна была она! Эти милые, светлым смехом сквозь слезы светящиеся глаза, эта улыбка, это лукавое торжество, с каким она смотрела на изгоняемого поклонника...»

Вот в четвертом акте — прощальный ужин на вокзале. Ермолова в темносером пальто, с дорожной сумкой через плечо, в простень-

кой шляпке с приподнятой на лоб вуалькой. Вот в дверях появляется Мелузов. От неожиданности она теряется — она скрыла от него свой отъезд. Несколько мгновений она сидит неподвижно и смотрит ему прямо в глаза...

В зрительном зале немая тишина.

Ермолова встает и, опустив глаза, быстро проходит по авансцене. Готовность к любому испытанию чувствуется в ней. Дойдя до Мелузова, она вдруг поднимает на него глаза — и столько нежности, столько любви в этом взгляде, что кажется, вот-вот она отменит свое решение и останется с ним навсегда.

— «Ни слова, ради бога ни слова! Если только любишь меня, молчи; я тебе после все скажу...»

Она возвращается на свое место. Нароков, бесконечно преданный ей, поднимает бокал шампанского:

— «За ваш талант!.. (Тишина в зрительном зале сменяется бурей аплодисментов.) За вашу красоту! Я всю жизнь поклонялся красоте и буду поклоняться ей до могилы...»

Нароков опускается перед Негиной на колени. Она отворачивается от публики и подносит платок к глазам. Прерывающимся голосом Нароков произносит прощальные стихи и быстро, почти бегом направляется к выходу. Негина пытается удержать его. Настоящие слезы катятся по ее лицу...

Времени до отхода поезда остается мало. Все направляются на перрон. На сцене Негина и Мелузов.

— «Ну, Петя, прощай! Судьба моя решена!.. — В голосе Ермоловой — глубокая тоска, но вместе с тем и непреклонная воля, и сразу становится ясно, что решение ее непоколебимо, назад возврата нет. — Так надо... Все правда, что ты говорил, так и надо жить всем, так и надо... А если талант... Если я родилась актрисой? Что ж мне, отказаться, а? А потом жалеть, убиваться всю жизнь... Если бы я вышла за тебя замуж, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену... Разве я могу без театра жить?.. Прости меня! Я на коленях буду умолять тебя!»

Со стоном она опускается на колени. Дрожащими руками Мелузов удерживает ее.

Громкие всхлипывания доносятся со всех концов зрительного зала. В партере, в ярусах, на галерке, не стесняясь, не обращая внимания друг на друга, люди плачут, прижимая к глазам носовые платки.

— «Прощай, Петя! Прощай, милый, голубчик!» — И, вырвавшись из его объятий, Ермолова убегает.

ПРИЗНАНИЕ

Поздней ночью после премьеры актеры собрались на торжественный ужин. Длинный стол, уставленный цветами и винами, оживленные лица, шум отодвигаемых стульев... Марии Николаевне казалось, что она снова играет сцену на вокзале, только там была настоящая, реальная жизнь, а здесь все расплывалось, скользило, и нужно было заставить себя поверить, что это не сон.

Рядом с нею сидел Музиль — взволнованный, как будто летящий куда-то. Серые добрые глаза его были озарены вдохновением, как во время прощальной сцены Нарокова с Негиной.

— Как выразить вам, дорогая Мария Николаевна, — говорил он вполголоса, утирая платком свой высокий, потный от волнения лоб, — как передать то, что я почувствовал сегодня! Слов нехватает! Играть с вами на одних подмостках — радость, честь и блаженство. Я испытал это сегодня. Я плакал настоящими слезами, я переживал настоящее горе. Было мгновение, когда, казалось мне, я стал гениальным — такова сила, такова заразительность вашего таланта!

Мария Николаевна слушала эти слова, и искреннее удивление сквозило в ее внимательно устремленных на него карих глазах.

— Помилосердствуйте, Николай Игнатьевич, — она смущенно теребила салфетку, — что это вы говорите! Играла как будто недурно... Вот и все.

Немного поодаль от Музиля возвышалась над всеми седая голова «короля Лира»—ее дорогого старого друга Сергея Андреевича

Юрьева. Прищурив по привычке один глаз, склонившись к своей соседке — Ольге Осиповне Садовской, он с увлечением рассказывал ей о чем-то. И хотя он говорил вполголоса, его низкий бас покрывал все остальные голоса. Сигара его давно погасла, и пепел от нее падал на его черный сюртук. Милый, горячо любимый «дед» — так называли Сергея Андреевича в большой актерской семье Малого театра. Что рассказывал он? Не свои ли светлые сказки, в которых подчас было больше правды, чем в действительности...

По другую сторону стола, наискосок от Марии Николаевны, сидела Федотова. В платье из блестящего синего шелка, плотно облегавшем ее стройную фигуру, с белым рюшем вокруг шеи, с тяжелой прядью волос, обвитой вокруг головы, она казалась еще совсем молодой, а ведь ей было уже за сорок. Легкая, подтянутая, она оживленно разговаривала с сидевшим по левую руку Ленским. Темные глаза горели веселым блеском, и не то ироническая, не то лукавая улыбка скользила ежеминутно по ее умному лицу. Иногда, как бы невзначай, она бросала выразительный взгляд на Марию Николаевну.

— Тише, тише! — раздались голоса.

— Александр Николаевич будет говорить!

— Слово Александру Николаевичу!

Все взоры обратились к центру стола, где сидел Островский. Тем, кто впервые видел этого добродушного большеголового человека с простым, широким лицом крестьянина, окаймленным рыжеватой бородкой, не верилось, что это и есть великий русский драматург — создатель гениальных произведений. Высокий лоб прорезали глубокие поперечные морщины, а глаза придавали какое-то особое обаяние всему лицу. Казалось, они сами по себе умели и думать, и слушать, и говорить, и смеяться. Огромное спокойствие, добродушие и чистота чувствовались во всей его фигуре. «По таланту — гигант, по сердцу — ребенок», говорили о нем актеры.

— Господа актеры, — начал он торжественно, — публика ценит вас и любит. Каждая новая работа ваша — для публики новое наслаждение, а для вас и для Малого театра — новая слава. Но в огромном числе ваших почитателей есть такие, которым ваши успехи

ближе к сердцу, которым ваша слава дороже, чем кому-либо. Это драматические писатели, от лица которых я и беру на себя приятную обязанность принести вам самую искреннюю, самую большую благодарность за то, что вы помогаете нам, авторам, отстаивать самостоятельность русской сцены. Наша сценическая литература еще бедна и молода, но она стоит на твердой почве действительности и идет по прямой дороге. И если мало еще у нас полных, художественно законченных образов, то уже достаточно живых, целиком взятых из жизни положений, чисто русских, нам одним принадлежащих. Отстаивая эту самостоятельность, работая вместе с нами, вы, я повторяю, заслуживаете от нас самой горячей, самой искренней благодарности...

Аплодисменты прервали его речь. Островский остановился, обвел присутствующих взглядом своих прекрасных глаз и продолжал:

— Каждый народ знает себя через свое искусство, и по мере того как он узнает себя, и жизнь для каждого отдельного человека становится яснее и проще. Искусство является светочем, озаряющим жизненный путь молодежи. Оно бессильно только над душами изжившимися. Но над ними и все бессильно. Свежую душу театр захватывает властной рукой. «Возможно ли описать все очарование театра, всю его магическую силу над душой человека... О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!» — так писал Белинский, и москвичи вторят ему. К своему Малому театру они относятся с особым чувством. Он является для них солнцем, лучами которого они греются, они благодарны ему, они любят его и гордятся им. И немудрено — первоклассные таланты, которыми на протяжении многих лет славится труппа Малого театра, артисты-художники развивают в зрителях истинное понимание достоинств художественного исполнения. Театр стал одной из форм воспитания, образования. Кто из москвичей не слышал крылатой фразы: «Мы ходили в гимназию, а учились в Малом театре»?

Сменялись поколения, сменялись вместе с ними общественные стремления, и всегда Малый театр переживал то, что переживал народ, всегда оказывал могучее воздействие на зрительный зал,

вызывая тысячи новых мыслей и чувств в сердцах молодежи. И театр дорог народу, потому что народ дорог и близок ему! Зритель идет в театр, чтобы забыть свою скучную, обыденную жизнь, ему хочется увидеть хотя бы призрак иной, светлой жизни, услышать горячие, торжественные речи, увидеть торжество правды, чтобы не зачерстветь в тех мелочах и дрязгах, в которых он постоянно вращается. Чтобы зритель остался удовлетворенным, нужно, чтобы перед ним была не пьеса, а жизнь, чтобы он забыл, что он в театре!

И это делаете вы, господа актеры, потому что вы не «представляете», а вы живете на сцене. Публика ждет от искусства облечения в живую изящную форму своего суда над жизнью, ждет соединения в полные образы подмеченных у века пороков и недостатков. Искусство дает публике такие образы и тем самым не позволяет ей воротиться к старым, уже осужденным формам, а заставляет искать лучших...

Как зачарованная, слушала Мария Николаевна эту речь. Казалось, если бы Островский заглянул в ее душу и увидел все ее сокровенные мысли, он не мог бы яснее и точнее выразить все то, о чем она думала и что чувствовала. «Вот у кого надо учиться нам, актерам, вот кто по праву может называться учителем!..»

— Мы, драматурги, — продолжал Александр Николаевич, — твердо знаем, что только актер дописывает задуманный нами образ. Он создает законченные типы, полные художественной правды, из нескольких черт, набросанных подчас неопытной рукой. Актер помогает автору, угадывает его намерения. И сегодняшний спектакль является блестящим подтверждением этого. Прежде всего разрешите мне, господа, сказать несколько слов о нашем дорогом бенефицианте.

Николай Игнатьевич! Ваша художественная душа всегда искала правды и находила ее часто в одних лишь намеках, неясно выраженных автором. Вы избежали искушения, которому часто поддаются комики, искушения тем более опасного, что оно льстит скорым, без труда дающимся успехом: вы никогда не прибегали к шаржу, чтобы вызвать у зрителя пустой и бесплодный смех, который, кроме минутной веселости, ничего не оставляет в душе. В труппе вас считают

комиком, но это не совсем верно. Вы никогда не были комиком в прямом смысле этого слова, хотя все мы знаем, как прекрасно, с каким тонким юмором вы исполняете комические роли. Но в вас есть и другое. Будь вы только комиком, разве могли бы вы так исполнить роль Нарокова, как вы это сделали сегодня? Разве могли бы вы выразить одним только тоном своего голоса столько благородства, столько едва уловимой грусти, столько скорби неудовлетворенной души, неудавшейся жизни — жизни, чуждой эгоизма и глубоко преданной искусству? Как тонко, с каким тактом передали вы это! Чуть дрогнувший голос, грустные, как бы подернутые влагой глаза — и зритель догадывается обо всем, что происходит в душе этого старика.

Желаю вам и впредь сохранить всю искренность, всю чистоту вашего таланта. Господа, я предлагаю тост за здоровье Николая Игнатьевича!

— Ура! Здоровье нашего Музиля!

— Ваше здоровье, Николай Игнатьевич!

Бокалы зазвенели.

— А теперь, господа, — неторопливо продолжал Островский, — разрешите мне сказать несколько слов о двух замечательных исполнительницах центральных женских ролей как в моих пьесах, так и во всем репертуаре Малого театра. Я говорю о Гликерии Николаевне Федотовой и Марии Николаевне Ермоловой...

Немая тишина наступила в зале. В первый раз так открыто соединялись имена этих двух актрис. И кем? Самим Островским! Как примет это Федотова? Все с любопытством обернулись к ней. Яркий румянец выступил на ее щеках. Видно было, скольких усилий стоило ей сохранить самообладание. Разве могла она примириться с тем, что наряду со своим именем все чаще и чаще слышит она, как произносится имя Ермоловой? Она была полновластной властительницей репертуара, для нее драматурги писали пьесы, ей одной поручал центральные роли в своих пьесах Островский! И вот теперь он сам ставит рядом их имена. Все чаще приходится ей делить репертуар со своей соперницей. Ермолова уже не только заменяет ее, как это бывало прежде, или играет в очередь с нею — все чаще получает она

самостоятельные роли, все громче звучит ее слава (в глубине души Гликерия Николаевна должна была сознаться — заслуженная слава!). И в недалеком будущем уже чудился ей тот час, когда она должна будет уступить первенство. А как это было тяжело! Разве могла она легко уступить свое место в театре? И она боролась, как могла, как умела! Ни для кого не были тайной те небольшие хитрости, к которым прибегала она... Не раз из-за «дипломатических» ее болезней снимались с репертуара пьесы, в которых участвовали обе артистки и у Ермоловой — так, по крайней мере, казалось Гликерии Николаевне — была более выигрышная роль. В отчаянии хватался за свою седую голову главный режиссер Черневский, заслышав подозрительное покашливание, означавшее отмену спектакля.

Пройдут годы, и Федотова оценит благородство Марии Николаевны. И неправдоподобными покажутся ей обуревавшие ее теперь чувства. Но это будет еще не скоро...

— Я поднимаю этот бокал, — продолжал между тем Островский, — за несравненную исполнительницу и истолковательницу женских характеров, создательницу тонкого рисунка ролей, за ее огромный талант, артистичность и блестящее мастерство! Желаю вам здоровья и долгих дней, дорогая Гликерия Николаевна!

С бокалом в руке он подошел к Федотовой. Она быстро встала.

— От всей души благодарю, Александр Николаевич, за ваши хорошие слова, — сказала она, поднося руку к сердцу. — Право, я не стою их. Время мое прошло. Пора другим уступать дорогу... — Она взглянула на Марию Николаевну, голос ее прервался.

Мария Николаевна видела, как Островский сказал что-то, склонившись к ней с ласковой улыбкой, но звон бокалов заглушил его слова. Потом он вернулся на свое место, медленно обвел глазами присутствующих, и наконец взгляд его остановился на Ермоловой.

— Мария Николаевна! Сегодня, глядя на вас в роли Негиной, я увидел то, что лишь неясно мог выразить своим пером. Вы своим тонким чутьем угадали авторский замысел. Из нескольких черт вырос прекрасный женский образ, воспоминание о котором зрители,

быть может, на всю жизнь унесли сегодня в своих сердцах. И создали его вы, Мария Николаевна! Вы дописали его за автора, и дописали мягкими, благородными красками, полными художественной правды. Разрешите же поднять этот бокал за ваш искренний, величаво правдивый, не знающий фальши талант, поднимающий зрителя на недосягаемую высоту, вызывая в нем радость и истинное художественное наслаждение!

Сдержанный шопот прошел по залу, словно вздох вырвался из уст всех присутствующих. Это было полное признание, а они, актеры, хорошо знали, что значит признание такого писателя и такого человека, как Островский...

«ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА»

У подъезда Малого театра толпился народ. Перед большой афишей, весь погруженный в чтение, стоял гимназистик в длинной шинели и надвинутой на лоб фуражке с огромным сияющим гербом.

«Орлеанская дева», трагедия Шиллера, — читал гимназистик. — Действующие лица: Иоанна— Ермолова, Дюнуа— Южин, Ла-Гир— Лавров, герцог Бургундский — Горев...»

У гимназистика дух захватило от этих имен. Что делать? Как попасть в театр? Все его попытки потерпели сегодня неудачу. Он уже поднимался на галерку и умолял капельдинеров пустить его постоять «у трубы» — так называлось узкое место между стеной и последней скамейкой, место, хорошо знакомое заядлым театралам — посетителям галерки. Напрасно совал он полтинник в руку старого, бородатого, не раз выручавшего его капельдинера. Сегодня ожидался особенно строгий контроль...

И вот, ему оставалось только читать афишу и с завистью смотреть на публику, исчезавшую в театральном подъезде. Счастливцы, они будут смотреть спектакль! Нет, положительно на свете не было более несчастного человека!

— Может быть, у вас найдется лишний билет? — раздался возле него чей-то детский голос.

Он обернулся и увидел такого же, как и он, гимназистика, с надеждой смотревшего ему в глаза.

— Лишнего? Да у меня не только лишнего, а никакого нет!

— Жа-аль! — разочарованно протянул второй гимназистик. — А спектакль, должно быть, интересный, — тоном взрослого прибавил он.

— Я думаю! — кивнул первый. — Ермолова нравится? — спросил он после небольшого молчания.

— Нравится. Особенно в «Медее».

— В «Медее ? — Первый гимназистик почувствовал, как у него, старого театрала, дрожь пробежала по телу от такого невежества.— Ты все напутал! — вскричал он, мгновенно переходя на «ты» со своим новым знакомцем. — Ермолова не играет «Медею»! «Медею» играет Федотова! Понимаешь? — Он пожал плечами, словно желая сказать: «Спутать Ермолову с Федотовой! Чудовищно!»

— Ну и подумаешь! — обиделся второй гимназистик. — Каждый может ошибиться... И ты можешь.

— Я? Да ты знаешь ли... да ты знаешь ли, что я... что я знаком с Ермоловой! — выпалил неожиданно для самого себя первый гимназистик и оробел от собственной дерзости.

Новый знакомый почтительно оглядел его с головы до ног и вдруг схватил за руку, словно осененный какой-то мыслью.

— Знаешь что! — сказал он громким шопотом. — Попроси Ермолову, чтобы она устроила нас!

Первый гимназистик неопределенно промычал что-то в ответ, но отступления не было.

— Пошли! — сказал он и решительным шагом направился к двери артистического подъезда.

Они молча поднялись по лестнице.

— Вы к кому, мальчики? — Старый сторож в солдатском мундире остановил их.

— Мы... к Ермоловой.

— Ее еще нет. Скоро будет. Подождите, если хотите.

Мальчики с любопытством оглядывались вокруг. Они были в темноватом помещении, заваленном какой-то мебелью, ящиками, старыми декорациями. В глубине виднелась сцена — никогда еще они не были так близко от сцены! Первый гимназистик с опаской поглядывал на сторожа, но тот был занят починкой какого-то ржавого чайника и так углубился в свою работу, что и вовсе забыл про мальчиков.

Прижав палец к губам, гимназистик сделал знак своему товарищу, и оба стали медленно подвигаться к сцене. С благоговением переступили они заветный порог. Сцена была пуста. Все уже было готово к началу спектакля. Осторожно, точно боясь разрушить что-то хрупкое и воздушное, ступали они по дощатому полу. В глубине во всю ширину сцены было натянуто полотно, неровно закрашенное зеленой краской, — мальчики смутно догадывались, что оно должно было изображать зеленые поля и холмы, хотя вблизи походило скорее на какую-то огромную грязную скатерть.

Вот слева, на авансцене, часовня. Стены у нее картонные и очень тонкие. Мальчики осторожно дотронулись до часовни и отошли поскорее — как бы не обвалилась! Вот справа «дуб развесистый», а под ним большой камень. Они пошевелили его — камень был легкий, деревянный, а дуб — полый, это сразу можно было определить, если постучать по стволу. Прямо над их головами в полумраке, на огромной высоте виднелись какие-то перекладины, с которых свисали раскрашенные вырезанные тряпки.

Все было странно и очень интересно! У гимназистика, объявившего, что он знаком с Ермоловой, был такой счастливый, взволнованный вид, что его новый товарищ поглядывал на него с удивлением.

— Это декорации к прологу, понимаешь? — с увлечением шептал гимназистик. — «Орлеанскую деву» читал?

— Читал.

— А вот занавес. Видишь две дырочки? Отсюда можно на публику смотреть... — Он заглянул в глазок. — Вот здо́рово! Всё головы, головы, люди, люди — и внизу, в партере, и наверху, в ярусах, — так и кишат...

— Это еще что такое? — раздался вдруг чей-то грубый голос.

Гимназистик обернулся и замер. В грозной позе, сдвинув на лоб очки, с чайником в руках к ним шел сторож.

— Это кто вам позволил тут шляться? На неприятности из-за вас, того и гляди, налетишь! Озорники!

— Да я... да мы... мы хотели только посмотреть...

— «Только, только»! — ворчал сторож, уже смягчаясь. — Да и смотреть-то нечего... Сцена как сцена: декорация стоит — и больше ничего... Идите сюда, здесь ждите. Теперь уж скоро Мария Николаевна должна быть. Да вы к ней с письмом, что ли?

— Нет, мы хотим спектакль посмотреть, — быстро заговорил второй гимназистик, — вот мы и пришли к Федотовой попросить...— Он остановился, увидев отчаянные знаки, которые делал ему товарищ, но было уже поздно.

Сторож подозрительно посмотрел на мальчиков:

— К Федотовой? Вы что же это, сами не знаете, к кому вы? Коли к Федотовой, так и ждать не к чему. Не занята она сегодня.

— Да нет же, мы к Ермоловой! — перебил его первый гимназистик, бросая яростный взгляд на товарища. — Мы... то-есть я... к Ермоловой, а он не знает, что мы... что я к Ермоловой.

Послышались чьи-то легкие шаги. Кто-то быстро прошел через сцену.

— А вот и они сами! — сказал сторож. — Мария Николаевна, тут вас господа гимназисты ждут.

Ермолова остановилась, откинула вуальку и удивленно посмотрела на мальчиков:

— Вы ко мне?

При звуках этого голоса, который до сих пор он слышал только со сцены и который всегда приводил его в трепет, первый гимназистик утратил всю свою храбрость.

— Мы... то-есть я... — бормотал он в невероятном смущении, — мы пришли просить вас... мы не достали билетов... — закончил он упавшим голосом.

Мария Николаевна молчала в нерешительности.

— Право, не знаю, — растерянно сказала она наконец. — Впро-

чем, подождите... Я сейчас у Сергея Антиповича спрошу. Может, он куда-нибудь вас пристроит...

Она сделала несколько шагов, потом обернулась и вдруг рассмеялась тихим, добрым смехом:

— Только вы не очень-то надейтесь. Скорее, нет... Это очень трудно.

Мальчики смущенно переминались с ноги на ногу.

Через несколько минут Мария Николаевна вернулась. За нею с недовольным видом шел высокий седой человек с красивыми, тонкими чертами лица. Это был главный режиссер Малого театра Черневский.

— Ну, что там такое? Какие там еще ребятишки? — ворчал он, мягко картавя.

— Вот, вот они,— Мария Николаевна показала на мальчиков.— Пристройте их куда-нибудь, пожалуйста, Сергей Антипович!

— Куда я их дену! Сами знаете, какой нынче спектакль. Народищу уйма.

— Ну куда-нибудь!

— Так и быть. Снимайте шинелишки! — скомандовал вдруг Черневский, и добрая улыбка скользнула по его лицу.

— Пойдемте, у меня в уборной разденетесь, — сказала Мария Николаевна.

Задыхаясь от волнения, спотыкаясь и толкая друг друга, мальчики шли за нею. У первого гимназистика кружилась голова от восторга. Точно какой-то вихрь подхватил его и мчал в неизвестную, чудесную страну. Он разговаривал с самой Ермоловой! Сейчас он войдет в ее уборную и повесит там свою шинель!..

Они разделись, и Черневский провел их к левой кулисе.

— Только стоять смирно! — сказал он, строго грозя пальцем. — Во время действия не шалить и не разговаривать даже шопотом.

Мимо мальчиков на сцену шли загримированные актеры. Прошла Мария Николаевна, одетая пастушкой — в белой блузе, темнокрасной юбке с черным корсажем, с кожаной сумкой через плечо, с распущенными волосами...

Вот поднялся занавес. Слева на авансцене Тибо д'Арк, отец

Иоанны, разговаривал с молодыми поселянами — женихами своих дочерей. Из-за левой кулисы эта часть сцены была почти не видна. Зато прямо против мальчиков, под развесистым дубом, на камне сидела Иоанна-Ермолова. В глубокой задумчивости, охватив руками колени, она сидела и молчала. Она молчала, пока отец рассказывал о бедственном положении Франции, молчала, пока он сватал дочерей, молчала даже тогда, когда сестры обращались к ней за советом. Бесконечным казалось ее молчание, но было в нем что-то такое, что приковывало к ней взор, и все остальное, происходившее на сцене, казалось незначительным, второстепенным.

Вот появился Бертран, брат Иоанны, со шлемом в руках, и тогда только подняла она голову, прислушиваясь к его рассказу о том, как он получил этот шлем от цыганки.

— «Отдай мне шлем! Он мой, он мне принадлежит!»— Это были ее первые слова.

Легкими шагами она подошла к Бертрану и, взяв шлем, медленно подняла и надела на голову поверх распущенных волос.

Мальчики ясно видели ее лицо. Оно преобразилось от этого прикосновения. Большие карие глаза ее казались черными и огромными, как будто занимали все лицо. С волнением слушала она рассказ Бертрана об осаде Орлеана, о поражении французов.

Ни слова о покорстве!
Не трепетать! Вперед! Не пожелтеет
Еще на ниве клас и круг луны
На небесах еще не совершится,
А ни один уже британский конь
Не будет пить из чистых вод Луары.

Такая угроза, такая уверенность в победе слышались в ее голосе, что в сердцах двух мальчиков, жадно смотревших на сцену из-за кулисы, не оставалось никакого сомнения в том, что родина Иоанны будет освобождена.

— «Простите вы, поля, холмы родные...» — нежно прощалась она с родной деревней, и гимназистик видел перед собой не раскрашенный потрепанный холст, а настоящие, освещенные южным солнцем поля и луга. А в вышине, над его головой, были не перекла-

дины, с которых свисали разрисованные тряпки, а ясное голубое небо Франции.

Се битвы клич! Полки с полками встали,
Взвилися кони — трубы зазвучали!

Кончился пролог. Буря аплодисментов донеслась из зрительного зала. Упал тяжелый занавес.

Медленно прошла со сцены Мария Николаевна, прошла так близко, что задела первого гимназистика краем своей широкой темнокрасной юбки. Рассеянным, ничего не видящим взглядом скользнула она по его лицу. Гимназистик замер и невольно прижался к кулисе.

Начался антракт. По сцене бегали и суетились рабочие, перетаскивали и устанавливали декорации, гремели молотками. Исчезло зеленое полотно — поля и холмы, исчезли часовня и развесистый дуб, и на смену им появился королевский дворец с высокими белыми колоннами, статуями, лестницами, устланными коврами...

За кулисами собирались актеры. Они были одеты в какие-то лохмотья, и если бы не загримированные лица и приклеенные бороды, можно было бы принять их за обыкновенных нищих. Они громко переговаривались друг с другом, шутили, смеялись, топтались на месте. Это был «народ», который должен был «шуметь», предвещая выход Иоанны. Сама Иоанна-Ермолова в нескольких шагах от мальчиков молча и сосредоточенно ожидала выхода.

Вот она рванулась вперед, стремительно выбежала на сцену, радостно простерла руки к королю. Вот с детской ясностью рассказывает о себе:

Меня зовут Иоанна.
Я дочь простого пастуха...

Вот она сбегает в панцыре и латах по горной тропинке, легко ступая между нагроможденными декорациями, изображающими горы, и меч, как огненный, сверкает в ее руке...

Вне себя от восторга, гимназистик следил за Иоанной. Как хотелось ему самому броситься за нею в бой, охранять ее от врагов, умереть за нее в сражении!

Он крепко схватил за руку своего приятеля, словно боялся, что ноги сами вынесут его на сцену...

Вот в третьем акте победоносная, грозная Иоанна преследует Черного Рыцаря, предвещающего ей беду. Вот она уже настигает его...

«Скорее, скорее!»

Вздох облегчения вырвался из груди гимназистика, когда Иоанна занесла меч над головой рыцаря...

Но в эту минуту какие-то люди за сценой стали громко стучать и грохотать чем-то, свет погас, потом сверкнул снова, и Черный Рыцарь исчез. Воспользовавшись темнотой, он убежал за кулисы — гимназистик чуть не бросился за ним вдогонку...

Но Иоанна уже мчалась дальше. Вот она вступила в бой с молодым англичанином, вооруженным с головы до ног. Вот она повергла его на землю, сорвала с него шлем, занесла над ним свой сверкающий меч... Гимназистик зажмурил глаза. Но что это? Меч Иоанны застыл в воздухе. Она отступила, лицо ее померкло, тоска и отчаяние зазвучали в голосе:

И знать я не хочу, что жизнь твоя
Была в моих руках...
Беги! Тебя найдут! Умру, когда погибнешь!

Казалось, силы покидали ее... Сердце гимназистика дрогнуло от жалости. Слезы подступили к горлу.

Кончился третий акт. Опустился и вновь взвился занавес. Ермолова подошла к рампе. Из зрительного зала к ее ногам летели цветы, все больше, больше... Они уже устилали всю сцену. Веточка белой сирени залетела так далеко, что гимназистику стоило только протянуть руку, чтобы достать ее...

Публика неистовствовала. Не то рев, не то стон несся из зрительного зала и гулко отдавался за кулисами. В умилении, в самозабвении, гимназистик смотрел на Ермолову. Как она должна быть счастлива! Она — достойная такого преклонения! Как счастливы ее близкие, счастливы актеры, играющие вместе с нею!.. Ему вдруг страстно захотелось самому бросить цветы к ногам великой артистки. Надо сейчас же, сию же минуту в антракте бежать за цветами...

Но вот беда, полтинник остался в кармане шинели... Как достать его оттуда?

— Подожди, я сейчас вернусь! — шепнул он товарищу, и прежде чем тот успел опомниться, он уже бежал по длинным, запутанным переходам сцены.

Он и сам не мог понять, каким образом после долгих блужданий очутился он у двери ермоловской уборной. Он заглянул в щелку. Там еще никого не было. Осторожно приоткрыв дверь, он шмыгнул в комнату. Вот и вешалка, совсем близко от входа. Но здесь гимназистика постигла неудача: на вешалке висели какие-то тяжелые пальто, и пришлось подлезть под них, чтобы добраться до своей шинели. Отчаянно сопя и торопясь, он принялся шарить по карманам. Как назло, полтинник закатился куда-то за подкладку, и никак не удавалось его вытащить. Но вот наконец он был в его руках. Обливаясь пóтом, гимназистик стал вылезать. В эту минуту дверь отворилась и вошла Ермолова. Весь дрожа от волнения, гимназистик зарылся поглубже и замер, слыша только биение собственного сердца. Сквозь узенькую щелку ему было видно, как Мария Николаевна сняла с головы шлем, откинула со лба растрепавшиеся волосы и опустилась в кресло перед зеркалом. Долго сидела она неподвижно, устремив взгляд куда-то в одну точку, потом нервным движением взяла со стола папиросу. Она поправила на себе панцырь, и гимназистик увидел, как сверкнули на мгновение ее глаза, но тут же, точно вспомнив о чем-то, она провела рукой по лбу, склонила голову, и плечи ее опустились, как бы под тяжестью внезапного горя. И в зеркале отразилось лицо Иоанны, но не прежней грозной, победоносной воительницы, уверенной в своей правоте, а лицо той Иоанны, которая отступила перед неизвестным рыцарем, а теперь, удрученная тяжестью своего проступка, чувствовала себя недостойной подвига, возложенного на нее.

Неужели это была она? Та самая Ермолова, которая разговаривала с ними перед спектаклем, просила за них Черневского, смеялась тихим добрым смехом? Нет, и здесь, за кулисами, она продолжала ту жизнь, которою только что жила на сцене.

...Оживленные голоса время от времени доносились из коридора,

шаги раздавались у двери, потом снова все стихало. Но Мария Николаевна, казалось, ничего не слышала.

Как могла она так преображаться? Как могла так глубоко проникаться чувствами людей, которых она изображала? Это было чудо, это была тайна, постичь которую гимназистику было пока еще не дано...

Дверь приоткрылась, и чей-то тихий голос сказал:

— Ваш выход, Мария Николаевна!

Как бы очнувшись, Мария Николаевна поднялась с кресла, надела шлем и несколько мгновений пристально смотрела на себя в зеркало. Потом медленно двинулась к двери.

Не помня себя, отирая пот, каплями катившийся по его разгоряченному лицу, гимназистик вылез из своего убежища и бросился бежать. В руке он сжимал полтинник, но поздно уже было покупать цветы. Колени у него дрожали, ноги не слушались, точно чужие.

Вот наконец и левая кулиса. Удивленное, встревоженное лицо товарища, о котором он и вовсе забыл...

Давно уже поднялся занавес, спектакль продолжался, а он, как во сне, смотрел на сцену и видел только одну Иоанну.

Вот она в королевском дворце, вся в белом, с распущенными волосами, стоит, опершись о высокую спинку стула, прислушиваясь к звукам музыки. Настоящие слезы катятся из ее глаз, бесконечная печаль слышится в голосе:

Ах, почто за меч воинственный
Я свой посох отдала
И тобою, дуб таинственный,
Очарована была...

Со знаменем в руках нетвердыми шагами она поднимается по широким ступеням Реймсского собора, выбегает оттуда, словно преследуемая кем-то... Обвиненная собственным отцом в колдовстве, она уходит, оставленная всеми, отказываясь от помощи.

Вот в последнем акте Иоанна в плену у врагов, в высокой башне, прикованная к стене.

— «Францию не одолеть!»

За стенами слышится шум сражения, французы приближаются.

Иоанна простирает к небу скованные цепями руки, мечется по площадке лестницы и наконец, разорвав цепи, как гроза летит мимо пораженных английских воинов на помощь своему народу.

Тряслись картонные стены башни, падали легкие, бутафорские цепи, но гимназистик всей душою верил, что цепи эти — железные, а стены — из тяжелого гранита. Он помнил из уроков истории, что на самом деле все было совсем иначе, что Иоанну, обвиненную в колдовстве, сожгли на костре, но в эту минуту он не верил истории, а верил Шиллеру и Ермоловой.

Спектакль близился к концу. Вот французские воины внесли на носилках раненую, умирающую Иоанну. Со слабой улыбкой, успокоенная, просветленная, окруженная своим народом, радостно встречала она смерть. Собрав последние силы, она встала с носилок и со знаменем в руках стояла, озаренная ярким светом, потом, подняв глаза к небу, тихо склонилась на руки рыцарей. Ее опустили на землю и покрыли знаменами...

Гимназистик больше не смотрел на сцену. Уткнувшись лицом в пыльную декорацию, он рыдал, не в силах дольше сдерживаться. Грохот, донесшийся из зрительного зала, заставил его очнуться. Занавес опустился. Он увидел, как Ермолова медленно поднялась с пола, и это показалось ему чудом. Не присутствовал ли он несколько минут назад при ее смерти? Неужели это была лишь игра? Глядя на ее чуть склоненную голову, он все еще видел перед собой умирающую Иоанну. И по тому, как актеры молча расступались перед нею, точно боясь разбудить ее, он понял, что они испытывали то же, что и он.

Вне себя от теснивших его душу чувств, в которых он и сам не мог разобраться, гимназистик бросился на колени и, не обращая внимания на застывшего от удивления, перепуганного товарища, на пороге той самой сцены, по которой ходила великая артистка, дал клятву посвятить себя искусству, которое отныне — сказал он себе— составит все счастье, весь смысл его будущей жизни.

И он сдержал свою клятву. Этот гимназистик впоследствии стал знаменитым актером. Его имя — Юрий Михайлович Юрьев.

А в зале царило волнение, которого не помнили стены Малого

театра. Тысячная толпа превратилась как бы в единое существо. Такую глубину чувства, такую горячую любовь к страдающему народу и ненависть к его поработителям вложила Ермолова в великий подвиг Иоанны, что перед людьми, уставшими бороться с пошлостью окружающей жизни, открылся иной мир — мир борьбы и сопротивления. И как скромная пастушка из Домреми нашла в себе силы для подвига, так и эти обыкновенные люди, казалось, были готовы совершить великое во имя прекрасного идеала.

...Шестьдесят четыре раза поднимался занавес — случай единственный в летописях театра! Бледный, взволнованный Черневский, шатаясь, прошел по сцене и мелом написал на занавесе: «64».

СЦЕНА И ЖИЗНЬ

Как удивлен был бы гимназистик, если бы знал, что та самая великая Ермолова, к ногам которой летели цветы, имя которой, подобно грому, неслось из зрительного зала, эта Ермолова была далеко не так счастлива, как ему казалось. Личная жизнь — это стало ясно уже в первые годы замужества — складывалась совершенно иначе, чем она ожидала. Отношения с мужем приобретали все более сложный характер. Исчезала общность интересов, все более обнаруживалась разница во взглядах на жизнь, во вкусах, в характерах, все больше отдалялись они друг от друга. Со стороны своего мужа она не встретила той серьезности и глубины, с которыми сама подходила к семейной жизни. Все мучительнее становились отношения, потерявшие внутренний смысл. Но порвать их Мария Николаевна не решилась. Любовь к дочери пересилила все — лишить ее отца она не могла. Ради нее принуждена была она «играть» в жизни, скрывая свои настоящие чувства, стараясь сохранить внешнюю видимость семейного благополучия. Скрытная по природе, Мария Николаевна замкнулась в себе, и даже эту большую материнскую любовь окружающие редко могли распознать сквозь ее обычную сдержанность и молчаливость.

«...Знай, что я люблю тебя и если этого не высказываю, то чувствую от этого не меньше...

...Дорогая моя, милая, я люблю тебя больше всего на свете, не верь моей внешности, знай, что мое сердце всегда открыто для тебя! Что же мне делать, что у меня такой характер дурной, я ведь сама сержусь на себя за это...»

Так писала Мария Николаевна дочери, когда той исполнилось двенадцать лет.

И лишь на сцене жила она тем, что не было дано ей в жизни, лишь на сцене находила выход неисполнившимся мечтам и желаниям. С потрясающей силой рисовала она на сцене трагедию материнской любви: тоску по утерянной дочери в «Холопах» Гнедича; беспредельное отчаяние, когда сын сходит с ума в «Привидениях» Ибсена; безграничное счастье, когда мать находит сына в «Без вины виноватые» Островского.

Всегда и во всем выступала она защитницей своих героинь и обвинительницей того строя произвола и насилия, того «темного царства» дореволюционной России, в котором томилась, не находя выхода, русская женщина. Громко звучал со сцены голос Ермоловой, протестовавший против семейного гнета, мещанских предрассудков, бесправия женщины и призывавший к завоеванию ее права на свободу и счастье.

«Не один присяжный, вспоминая Ермолову, объяснял себе психологию подсудимой и отпускал ее с миром,— писал ее товарищ по сцене Южин. — Не одна учительница в дымной, угарной избе отдыхала, вспоминая Ермолову в ее простых и героических ролях, и с новой силой бралась наутро за свое дело...

...Много было, есть и будет отличных артистов на всех сценах мира, но только те имеют право на общественное значение, которые, кроме таланта, несут в себе глубокую и неразрывную связь со своим народом».

С каждым годом совершенствуется дарование Ермоловой, с каждым годом становится она все строже к себе, все пристальнее изучает жизнь, все глубже изображает ее на сцене.

В течение восемнадцати лет не сходит со сцены спектакль «Орлеанская дева», и зрители подносят Ермоловой меч как символ ее героического искусства. Пять юношей — студентов Московского университета посылают ей восторженное письмо по поводу исполнения ею роли Иоанны.

«Куда бы ни бросила вас жизнь, — отвечает им Мария Николаевна, — как бы ни были впоследствии разнородны ваши души и стремления — не покидайте веры в идеал. Если пламень, который горит теперь в ваших молодых душах, погаснет совсем — вы погибнете, помните это! Вы засушите себя и будете несчастны. Люди уйдут, заменятся новыми, но прекрасное вечно — без него жизнь есть только скучный, а следовательно, бесполезный труд».

В памяти современников навсегда останутся гениальные изображения Ермоловой русских женщин: Негиной — в «Талантах и поклонниках», Ларисы — в «Бесприданнице», Юлии Тугиной — в «Последней жертве», Катерины — в «Грозе», и целого ряда других.

Вот в слабой пьесе «Татьяна Репина» она так играет смерть героини, что актеры, участвующие вместе с нею в спектакле, думают, что она действительно умерла. В зале истерики, вызывают врачей, выносят женщин без чувств. Занавес опускается, и Ермолова, приподнявшись на своих подушках, не понимая, что происходит, спрашивает товарищей: «Что случилось? Уж не пожар ли?» И актеры, теперь только поняв, что это не смерть, а вдохновенная игра, со слезами на глазах отвечают: «Какой там пожар! Это вы! Вы!»

Вот после одного из спектаклей молодой Остужев, ныне Народный артист СССР, потрясенный игрою Ермоловой, бросается перед ней на колени, умоляя открыть ему тайну ее искусства. И Мария Николаевна, смущенная, взволнованная, отвечает ему:

— Да что ты, Саша! Да я ничего не знаю, ничего не умею. Как могу я учить? Я сама только учусь играть.

Еще совсем молодой женщиной она играет свою сотую роль. Все шире становится признание таланта Ермоловой, и только попрежнему равнодушно и холодно отношение к ней чиновников, составляющих дирекцию театра. Попрежнему, не щадя ее здоровья, они пе-

регружают ее непосильной работой. Пьесы меняются часто, и в большинстве это пошлые пьесы бездарных авторов, покровительствуемых начальством. За зимний сезон Марии Николаевне приходится играть семь-восемь новых ролей, не считая старого репертуара. Долгие годы подряд играет она почти ежедневно, на праздниках — по два раза в день. Много сил приходится ей тратить на борьбу с тупым бюрократизмом и бездушием театральных чиновников, для того чтобы хоть немного облегчить свой «каторжный труд» в театре и получить возможность работать над ролями, достойными ее таланта.

Но за себя Ермолова никогда не умела бороться, и не она выходит победительницей из этой непосильной борьбы...

ДРУГ

«Л. В. Средину

2 сентября 1898 года

Дорогой Леонид Валентинович, мне так хочется написать вам, хотя вряд ли выйдет толковое письмо — я все еще не могу ни успокоиться, ни опомниться после нынешнего лета. Хотя уже другая жизнь начинает понемногу захватывать меня, но я все еще чувствую себя в том приподнятом настроении, в котором я пробыла почти три месяца. Да, я пережила еще раз мою юность. Право, это счастье не многим дается. Не боясь быть смешной, потому что я пишу вам, а вы меня поймете, я скажу, что я переживала чувство влюбленности, как его переживают в восемнадцать лет. Я была влюблена в вас, в природу, в музыку, в вашу личность, в голос и глаза Алексина, в характер Софьи Петровны... Я бывала много раз в Крыму, любила его всегда и всегда скучала в нем и с радостью уезжала в Москву. Теперь было не так, я со слезами уезжала из Крыма... Все дело в том, что я нашла людей по сердцу. А это такая страшная редкость в нашей жизни! За последние двадцать лет я таких людей не встречала... Вы не потеряли себя, не вымотали своей души, вы

сохранили светлое и теплое отношение ко всему живущему. Мало ли добрых людей на свете, но в вас не одна доброта, а свет, свет, свет. Вся обстановка около вас дышит чистотой, порядочностью, теплом. И недаром к вам тянет, как бабочек на огонь, людей, которые могут еще что-нибудь чувствовать... Целое лето провести с вами — это точно очистить себя от грязи, которая наросла и прилипла годами... Итак — вот итог лета, этого не скажешь, да и не напишешь всего. Скажу одно: я так счастлива, как давно не была...»

Это письмо было написано Марией Николаевной доктору Леониду Валентиновичу Средину, с которым она познакомилась, проводя лето 1898 года в Крыму. С этого времени начинается их дружба, длившаяся долгие годы, до самой смерти Средина, — дружба, которую сама Мария Николаевна считала одной из самых светлых страниц своей жизни.

Леонид Валентинович Средин был одним из тех замечательных людей, которые, не совершив ничего великого, тем не менее оставили глубокий след в сердцах лучших людей своего времени. Доктор медицины, хирург, с большим успехом начавший в Москве свою медицинскую деятельность, он принужден был из-за тяжелой болезни — туберкулеза — переехать в Ялту, и его дом быстро сделался центром, привлекавшим писателей, художников, актеров, в силу разных обстоятельств заброшенных в Крым.

Чехов был близким другом Средина и высоко ценил его литературные вкусы. Горький любил его и, приезжая в Ялту, был его постоянным гостем. Имя Средина часто упоминается в их переписке.

«Мы, то-есть я и Средин, — пишет Чехов, — часто говорим о вас. Средин вас любит».

«За сообщение о Средине спасибо, — отвечает Горький. — Чертовски хорошая душа. Поклонитесь ему».

«Какая-то неведомая сила влекла на балкон Средина как ялтинских обывателей, так и заезжих в Крым, — вспоминает художник Нестеров. — Бывало тянутся люди в гору к дому, где проживал медленно угасавший в злой чахотке Средин, объединявший вокруг себя всех ищущих «правды жизни». Кто, кто не шел к милому, спокойному, мудрому Леониду Валентиновичу!»

Когда Мария Николаевна познакомилась со Срединым, ей было сорок четыре года. Много лет провела она, подавляя свои чувства и мысли, скрывая от окружающих все, что волновало и тяготило ее. И вот, впервые в жизни она встретила человека, с которым почувствовала себя легко и свободно, который понимал ее с полуслова. Ее притягивало мягкое обаяние Средина, его уменье и душевная готовность слушать своего собеседника. Глядя на его изможденное болезнью, одухотворенное лицо с умным взглядом светлых глаз, казалось, чувствовала она душевное успокоение, разрешение мучивших ее тревог и сомнений.

Марии Николаевне редко удавалось бывать в Крыму, и дружба их постепенно свелась к переписке. Но как часто в Москве, среди повседневной театральной сутолоки, волнений, недоразумений и дрязг, тянуло ее в далекую Ялту, побеседовать со Срединым, «отогреться на его балконе от московской стужи»! С этой дружбой в одинокой, замкнутой жизни Марии Николаевны появился какой-то светлый огонек, который, казалось, всегда будет светить ей издалека.

«...Представьте себе такую картину: вьюга, зима, метель, а в освещенной комнате так тепло, так хорошо! Вдруг раскрывается дверь — врывается зимний холод и мрак, вас берут, сажают на бешеную тройку и мчат по сугробам, по ухабам, по холоду! Пустите меня, дайте отдохнуть, я хочу опять в тот светлый домик, где так тепло! Нет, нет, дальше! И вы опять мчитесь и замечаете, что кружитесь все по одному месту, что бешеная тройка не уносит вас вперед, а, издеваясь над вами, кружится около. И часто сквозь мрак вы видите, как мелькает огонек, к которому рвется ваша душа, но вам не дают остановиться! Наконец отчаянное усилие, да и кони устали кружиться, — вы прыгаете с саней и бежите изо всех сил на манящий огонек.

Вот я и добралась наконец до моего огонька, до вас! А когда я добираюсь до вас, у меня в душе начинают звучать особенные струны...»

ПАМЯТНЫЙ ВЕЧЕР

Ранней весной Мария Николаевна снова приехала в Ялту. Она провела тяжелую зиму. Болезнь матери, непосильная работа в театре, постоянная борьба, которую ей приходилось вести против косности, тупости и недоброжелательства начальства, измучили ее. Порой она приходила в отчаяние и готова была уйти из театра... И вот теперь, приехав в Крым, она отдыхала душой, наслаждаясь морем, солнцем, воздухом, беседами с людьми, близкими ее сердцу.

Впервые встретившись с Горьким, на «срединской террасе», она сразу почувствовала к нему глубокую симпатию. Высокий, немного сутулый, с зачесанными назад прямыми темными волосами, в русской рубашке, подпоясанной цветным пояском, он бродил по окрестностям Ялты, окруженный толпой ребятишек. С ними он ходил на Ай-Петри, в Алупку, с ними ловил рыбу, плавал на парусной лодке. Его любили все — от мала до велика.

У Марии Николаевны, когда она встретилась с Горьким, было такое чувство, как будто они знакомы много лет. Ей нравились его книги, проникнутые бодростью, любовью к жизни. Горьковская вера в будущее, в человека была близка и дорога ей. Они часто говорили о литературе, о театре, и вкусы их неизменно сходились. В течение всего пребывания Марии Николаевны в Ялте она, Горький, Средин и его друг — доктор Алексин были неразлучны. В середине лета к их обществу присоединился Станиславский — «неизменный почитатель» Марии Николаевны, как он подписывал свои письма, — тогда еще молодой человек, полный сил и вдохновения, всецело отданных созданию Художественного театра.

В этот вечер к Средину собрались рано — Горький обещал прочитать свой новый рассказ. Когда вошла Мария Николаевна, он ходил из угла в угол по террасе огромными шагами. Время от времени он останавливался и, как бы любуясь, смотрел на Станиславского, с жаром развивавшего свою любимую идею, которую в начале разговора он кратко выразил такими словами: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве».

— Мы, артисты, счастливые люди, — говорил Станиславский,

увлекаясь все больше и больше. — Во всем необъятном мире судьба дала нам несколько сотен кубических метров — наш театр, в котором мы можем создать особую, прекрасную жизнь. А между тем как часто сами актеры вносят в театр житейские мелочи, интриги, сплетни, зависть, мелкое самолюбие! Все это надо с корнем вырвать из души!.. — Он помолчал. — Сцена — белый лист бумаги, она может служить и возвышенному и низменному, смотря по тому, что на ней показывают и кто на ней играет, — продолжал он. — Прекрасные, незабываемые спектакли Мочалова, Щепкина, нашей Ермоловой...— Он показал обеими руками на Марию Николаевну, как бы представляя ее присутствующим. Мария Николаевна в ответ только покачала головой. — А наряду с этим как часто актер отдает свою жизнь служению ничтожному, жалкому, пошлому, иногда даже не ведая об этом! И больше всего это сказывается на самой работе. Боже мой! Как долго и упорно нужно работать, прежде чем извлечешь из своей души подходящее слово, интонацию, какую-нибудь черточку, которая поможет создать задуманный образ... Как томится артист, не находя наяву того, что мерещится в его воображении!.. — Станиславский замолчал, обвел присутствующих немного смущенным взглядом и прибавил с доброй улыбкой: — Ну, я, кажется, попал на своего конька — не даю никому сказать ни слова.

— Напротив, напротив, Константин Сергеевич, я с большим интересом слушаю вас, — возразил Горький. — Как это верно все, что вы говорите! Вот, кстати, о потерянном слове. В литературе такие вещи, пожалуй, еще чаще бывают. Я один случай из своей жизни вспомнил. Писал я однажды рассказ, и вот одно слово никак на ум не шло, ускользало. А без этого слова — я чувствовал — вся яркость теряется. Рассказ готов — а слова нет как нет! Редакция из себя выходит, все сроки давно прошли. Я хожу злой, мрачный, спать перестал... И вот заходит ко мне приятель, тащит в цирк. Сидим мы с ним, смотрим разные разности: «рыжих», воздушных гимнастов, жонглеров. Вдруг слово мелькнуло, как живое. Я — домой, не досмотрев представления, и на другое утро отнес в редакцию готовый рассказ...

— И все же, — задумчиво сказал Станиславский, — нам, акте-

рам, еще труднее. Вы можете работать, когда хотите, вы свободны в своем творчестве, актер же должен уметь вдохновляться в определенное время, помеченное на афише. Это не так-то просто! Не правда ли, Мария Николаевна?

Можно было подумать, что этот вопрос имел важное значение для Марии Николаевны, — таким долгим, задумчивым взглядом ответила она Станиславскому. В этот вечер она была особенно молчалива.

— Мария Николаевна Тимковским умучена,— лукаво улыбаясь, пошутил Горький. — Держу пари, он сегодня ей целый день свою драму читал! Сидит себе и загибает, аккуратен, как немец! И самолюбием кислым пропитан. — Он брезгливо махнул рукой. — Удивляюсь, как вы в нем живую душу находите!

Горький терпеть не мог драматурга Тимковского и часто поддразнивал Марию Николаевну, которая была с ним в дружеских отношениях.

— Нет, здесь что-то другое, — шутливо возразил Средин. — У Марии Николаевны таинственный, загадочный вид, а Константин Сергеевич смотрит на нее такими глазами, как будто он один знает, в чем заключается тайна.

— Ах, полно, господа! — грустно сказала Мария Николаевна. — У нас с Константином Сергеевичем только одна тайна — тайна театра. И он, кажется, разгадал ее, а я...

И Мария Николаевна замолчала.

— Впрочем, бог с ним, с этим театром,— неожиданно прибавила она. — И пришло же мне когда-то в голову пойти на сцену!

Все засмеялись.

— Алексей Максимович, где же ваш новый рассказ? — сказал Средин. — Мы ждем.

— Ну что ж! Если хозяин требует, приходится подчиняться. Прошу судить строго, без снисхождения. — Горький достал из кармана рукопись, уселся за стол и начал читать: — «Нас было двадцать шесть человек, двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки...»

Это был рассказ, или поэма, как называл его Горький, — «Двадцать шесть и одна». Перед слушателями, как живые, вставали эти люди в грязном, закопченном подвале, перед раскаленной печью, в облаке мучной пыли...

— «...Целый день, с утра до десяти часов вечера, одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтобы не одеревянеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала о под печи, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич...»

Мария Николаевна вначале с трудом заставляла себя слушать— мысли ее были в этот вечер далеко, — но по мере того как Горький читал, он все больше овладевал ее вниманием. Казалось, она не только видела этих людей, но ощущала запах вареного теста, слышала бульканье кипящей воды, заунывную песню, которую жалобно и тоскливо затягивал пекарь, ясный, звонкий голос шестнадцатилетней девушки Тани. Так ясно, словно давно знакомое, представляла она себе лицо Тани, сквозь маленькое грязное оконце улыбавшееся открытой, ласковой улыбкой — улыбкой, как солнце озарявшей беспросветную жизнь двадцати шести человек.

— «...Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо... Мы всегда хотим дорогое нам видеть священным для других...»

Тихий вечер незаметно и быстро перешел в ночь. Черное южное небо было усеяно звездами. С моря доносился равномерный плеск волн. Горький кончил. Все долго молчали.

Мария Николаевна подошла и крепко пожала Горькому руку.

— Спасибо, от всей души спасибо, Алексей Максимович, — тихо сказала она. — Давно уже ничто не трогало меня так глубоко... А теперь простите меня. Мне сегодня что-то нездоровится. Хочу лечь пораньше... Не провожайте меня, дорогой Леонид Валентинович, — прибавила она, обращаясь к Средину, который пошел было за нею.

— Что с Марией Николаевной? — тревожно спросил Горький, когда она ушла.

Средин пожал плечами:

— Не знаю. Не могу понять. Расстроена — но чем? Разве она скажет!

—

На другой день Мария Николаевна не пришла, и Средин, обеспокоенный ее отсутствием, отправился навестить ее. Мария Николаевна встретила его немного растерянно. Бледная, прямая, она сидела на диване и курила, глядя отсутствующим взглядом на своего собеседника. Разговор шел о каких-то общих, малозначительных вещах: о погоде, о письмах, полученных от московских друзей. Говорил больше Средин, а Мария Николаевна рассеянно слушала, изредка невпопад вставляя односложные фразы. Средин заговорил о Горьком, о его чтении, и Мария Николаевна оживилась.

— Я много думала над этим чудесным рассказом, — сказала она. — Как в нем все верно и тонко! Как переданы чувства этих людей, обманувшихся в своем идеале, — ведь Таня была для них идеалом, в который они верили... Как переданы их разочарование, душевная боль, злоба, когда она не выдержала испытания... — Мария Николаевна помолчала, потом прибавила, уже как бы про себя: — А что может быть тяжелее, чем разочарование в человеке, которому веришь беспредельно!

Средин был поражен — такая печаль и тоска прозвучали в ее голосе.

— «Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо... Мы всегда хотим дорогое нам видеть священным для других...» Но что же делать, если для других не дорого то, что священно для нас?

Средин понял — Мария Николаевна говорила о своих отношениях с мужем. Он молча ждал продолжения.

— Впрочем, это старая, скучная история, — добавила она, — и с моей стороны было бы просто невежливо утомлять вас ею, дорогой Леонид Валентинович.

— Вы обижаете меня, — возразил Средин. — Если эта старая история волнует вас, как может она не трогать ваших друзей!

Мария Николаевна ответила ему долгим благодарным взглядом.

— Мне на долю выпало редкое счастье, — сказала она, — иметь такого друга, как вы. Верьте мне, я сильно чувствую это!

Средин молча поцеловал ее руку.

— Впрочем, совсем другое волнует и тревожит меня последние дни. Я... сама не своя, дорогой Леонид Валентинович. Сомнения мучат меня. Я думаю, думаю... и не могу решиться.

— Решиться? На что?

Мария Николаевна вздохнула.

— Станиславский предложил мне перейти в Художественный театр,—сказала она.—Да какое там «предложил»! Он зовет меня — и зовет настойчиво, упрямо! И я чувствую всей душой, что он прав, что в его руках единственное оружие, которым можно бороться против рутины, против театральной лжи. Мы сделали многое — я говорю о Малом театре, — но все это уже в прошлом. А теперь... Вы не можете себе представить, как много сил приходится тратить на бесполезную борьбу против ролей, которые навязывает начальство! Мне приходится доказывать, что я сроду не играла и не могу взяться за роль, в плоть и кровь которой войти не в силах, что это не мое дело... Мне уже не шестнадцать лет, и меня нельзя выучить с голоса... Однако доказательства мои никого не убеждают. Начальство принимает это за каприз — и только! — Мария Николаевна безнадежно махнула рукой. — Я знаю, — продолжала она, — дорогу в будущее открыли они — Станиславский и Немирович. Они открыли правду душевных переживаний, артистического чувства. Они поняли, что актеру нужно прежде всего чувствовать эту правду жизни, и только тогда он сможет занять принадлежащее ему место на сцене. Но что же мне делать, дорогой Леонид Валентинович? Оставить свой театр — ведь это значило бы изменить ему. И не просто оставить — нет! Бросить в трудном — можно сказать, отчаянном положении!

Мария Николаевна тихо, почти шопотом произнесла эти слова.

Средин долго молчал. Потом медленно сказал, глядя ей прямо в глаза:

— Я думаю, что вы уже сделали выбор... Малый театр — это ваш отчий дом, а вы не из тех, дорогой друг, которые покидают свой

дом, как бы им ни было трудно. Вы никогда не простили бы себе, если бы поступили иначе. Не так ли?

Она протянула ему обе руки:

— Конечно, так. И кончено! Больше я не стану думать об этом.

ИЗ ДНЕВНИКА

1 октября.

Вот уже месяц, как я вернулась из Крыма и сегодня только берусь за перо. Окунулась в море театральной жизни и плаваю, только не могу сказать — как рыба в воде. Вода эта слишком мутна...

Мама очень плоха. Врачи говорят, что вряд ли дотянет до весны.

6 октября.

Вчера шла «Мария Стюарт». Театр был полон. Я играла совсем больная. Насилу кончила. Подали венок, я ему обрадовалась, потому что он напомнил мне Крым, где мне было так хорошо... Много вызывали. Варя Кудрявцева приходила меня одевать и была очень довольна...

8 октября.

В нынешнем году мне приходится учить столько новых ролей и столько тратить на них сил, что я уже просто не в состоянии учить старые. Чувствую себя очень усталой. Дома почти не бываю.

13 октября.

Большое горе постигло нас — артистов Малого театра. Умерла Надежда Михайловна Медведева. Кажется, теперь только я почувствовала, какое большое место занимала она в моей жизни. Странно сознаться, но, вероятно, я до сих пор все еще чувствовала себя ее послушной ученицей, привыкшей видеть в ней опору и защиту. Отсюда — то чувство беззащитности, которое я испытываю теперь... Вспоминаются какие-то мелочи, ее веселые поддразнивания, которые так помогали работать, и не верится, что ее уже нет... В четверг похороны...

28 октября.

Приезжал к нам вчера Шаляпин — на минуту, по делу, потом начал петь, забыл все дела и пробыл до глубокой ночи. Я кой-как, с трудом подыгрывала, а он пел, пел бесконечно. Спел всего «Фауста»... Как недоставало Леонида Валентиновича! Хорошо было в Ялте... Будет ли еще когда-нибудь так же? Даже страшно подумать... А у нас осень, дожди... Маме все хуже.

10 ноября.

Написала письмо Леониду Валентиновичу. Посреди этого нервного угара, в котором я нахожусь, он для меня — тот тихий уголок, где я могу хоть на минуту свободно вздохнуть. Милый, милый Леонид Валентинович! Мы иногда положительно живем одними мыслями. Впрочем, письма мои всегда непоследовательны. Хочется написать одно, сейчас же это «одно» загораживается другим, мысль исчезает, является другая — никакой логики... Но все равно — Леонид Валентинович поймет!

20 ноября.

У нас событие. Приезжает новый директор, и вся труппа будет ему представляться.

23 ноября.

Какую милую речь сказал нам директор! Он вообразил, что пришел в гимназию, в приготовительный класс, и, как любящий, но строгий начальник, сказал, что надо слушаться начальства, учить уроки и почитать старших. А кто не будет слушаться, того высекут. Так все и остолбенели от удивления — ждали умного человека, а приехал дурак, никогда в жизни не слыхавший, что такое артист... Скоро название «артист Императорских театров» станет чем-то нехорошим — так успешно идет у нас дело развития искусства! Какими помоями обливают в газетах Малый театр! Да, он становится совсем безжизненным трупом... Что делать? Перейти в Художественный? Станиславский все еще зовет меня... Хоть я и бесхарактерна, но, кажется, брошу их раньше, чем им удастся меня извести...

2 декабря.

Наконец-то я добралась до письменного стола! Так давно не писала, что даже чернила все высохли. Время летит, как ветер, как

сон, только сны меняются часто, а тут все одно и то же: театр и болезни бесконечные... Что меня главным образом волнует и мучит теперь — это мой бенефис. Прочитала пятьдесят пьес и остановилась на «Месяце в деревне». А очень хотелось бы найти что-нибудь посильнее. Это необходимо в настоящее время. Леонид Валентинович советует Ибсена. Я несогласна с ним. Признаю — Ибсен большой талант и ум, но душа моя ненавидит этот ум и талант. Мне противны все эти нездоровые течения в литературе...

7 декабря.

Как я вчера расстроилась! Дом полон гостей — Николин день, именины, вдруг говорят мне — был какой-то человек, высокий, в барашковой шапке, сунул книги для меня и скрылся. Смотрю — Горький «Очерки и рассказы». Я за ним, а его уже и след простыл. Милая, светлая личность! Как я рада была бы встретиться с ним, услышать его голос, вспомнить Ялту, наши прогулки, поговорить о многом... В нем, как и во всем, что он пишет, какой-то особенный свет, бодрость, тепло...

21 января.

Во вторник был мой бенефис. Но мне не дали отдохнуть. Измученная, я играла чуть не каждый день и бродила, как в чаду. Я довольна бенефисом. Тургенев сделал свое дело. Публика невольно заслушивается этой прелестной музыки разговора и тонких ощущений. Сейчас пьеса идет при полных сборах. Вызовов шумных нет, но слушают удивительно.

Маме очень плохо. Вчера хлынула горлом кровь. Она безропотно переносит свои страдания. Мы с Аннетой провели возле нее весь день. К вечеру полегчало...

25 января.

Получила от Южина в подарок том его сочинений. Как эти пьесы напомнили мне молодость! Незабвенное время, когда мы все горячо и беззаветно отдавались своему искусству, верили в него и молились ему... А теперь! Света, побольше света!

22 февраля.

Как давно я не бралась за перо! Не могла к столу подойти. Умерла мама. Мне странно даже написать это слово. Это единственная

любовь, которая не знает ни сомнений, ни разочарований, ни недоверия, — и такой любви больше нет для меня... Как пусто стало у нас в доме! Не играла только два дня. Больше не разрешили. На другой день после похорон пришлось играть «Марию Стюарт». Очень устаю, измучилась, плохо сплю.

10 марта.

Получила от Леонида Валентиновича хорошее, сердечное письмо. Оно меня очень порадовало. Последнее время я так нуждаюсь в его дружбе. Очень дурно чувствую себя. В голове какой-то туман. Так много хотелось бы сказать ему, да мысли толпятся и мешают одна другой... Надо отдохнуть, но об отдыхе еще и думать нечего.

Погода стоит все еще очень холодная. Мерзну, леденею. А в Крыму уже весна... Солнце, море, белые цветы, голубые птицы... Поехать бы в Ялту, забраться на срединскую террасу, посмотреть в его умные, все понимающие глаза и вновь обрести покой и то светлое настроение, которое не покидает меня в его присутствии...

ГОРЬКИЕ ГОДЫ

В 1906 году в Малом театре произошло событие, взволновавшее и огорчившее всю труппу: Федотова тяжело заболела — у нее отнялись ноги, — и она принуждена была бросить сцену. Мария Николаевна глубоко сочувствовала ей и вместе с нею переживала ее горе. Она всегда высоко ценила талант Федотовой, ее искреннюю любовь к театру, и в былые годы немало огорчений причиняло ей их невольное соперничество.

Мария Николаевна понимала, как тяжело было этой большой актрисе, еще в расцвете сил и таланта, энергичной и властной, оказаться прикованной к креслу, вдали от театра, которому была отдана вся ее жизнь. И Мария Николаевна окружила больную самой нежной заботой. Она часто посещала ее, присылала фрукты, цветы. А когда Федотова переехала из Москвы в свое имение на берегу Оки, близ города Каширы, она в течение многих лет переписывалась

с нею. В письмах она посвящала ее во все мелочи театральной жизни, которые, разумеется, живо интересовали Федотову, сообщала о новых постановках, о своих сомнениях, удачах и неудачах.

Чтобы поддержать бодрость больной, Мария Николаевна всячески старалась подчеркнуть, какой потерей для театра явился ее уход со сцены, как осиротел без нее Малый театр.

«Вы ушли, и точно последний свет погас. С вами ушло искусство, с вами ушло серьезное, строгое отношение к делу... Когда вы были, вы спорили, говорили, возражали — и вас слушали, а теперь некому ни говорить, ни слушать».

Мария Николаевна старалась поддержать в Федотовой надежду на выздоровление и на скорое возвращение в театр:

«Будем желать, чтобы имя Федотовой вновь заблестело на нашей сцене!.. Знаешь, что пока есть Федотова, жив еще добрый гений Малого театра... У нас сердца забились надеждой увидеть вас на сцене...»

Читая эти письма, можно подумать, что они написаны начинающей, незаметной артисткой к знаменитости, несравнимо превосходящей ее талантом и значением в театре. А между тем это было тогда, когда уже много лет во всем блеске сияла слава Ермоловой, когда имя ее для молодежи было символом всего светлого и передового, когда москвичи, встречаясь друг с другом, говорили: «Мария Николаевна» — и уже прекрасно знали, о ком идет речь; когда женщины душились духами «Дафнэ», потому что их любила Мария Николаевна, и вставляли в окна своих квартир лиловато-розовые стекла, потому что, по какой-то странной случайности, такие стекла были в кабинете Марии Николаевны на Тверском бульваре.

Посвящая Федотову во все события театральной Москвы, Мария Николаевна делилась с нею своими горестными размышлениями об упадке искусства вообще и в частности — о падении Малого театра:

«...Очень больно видеть и слышать, что делается. И ниоткуда не видать еще просветления... Наше дорогое, милое искусство, что с ним теперь?

...Горькое время мы переживаем. Теперь театр представляет

басню об умирающем льве, которого ослы лягают со всех сторон. Горько еще то, что мы с вами не можем поддержать своими силами падающее здание...

...Вам, с вашим умом и энергией, может быть и скучно в вашем уединении, но такая теперь сумасшедшая жизнь, что приходится иногда вам завидовать...»

Мария Николаевна искренне писала эти строки. Тяжелое время переживал русский народ, тяжелое время переживало искусство.

Миновал памятный 1905 год. Разгромлена была революция с ее светлыми чаяниями и надеждами. В России свирепствовала жестокая реакция — полевые суды, ссылки, смертные казни. Суровой расправе подверглись лучшие люди страны. В заточении в Петропавловской крепости оказался Горький. Арестованы и сосланы были почти все друзья Средина — в Ялте распоряжался известный своей жестокостью генерал-губернатор.

Мария Николаевна была глубоко подавлена. Трудно было жить и еще труднее — работать. Много душевной стойкости надо было иметь для того, чтобы сохранить в себе «чувство прекрасного» и не поддаться «мутным и грязным волнам упадочного искусства».

«Тяжело разбираться во всем, что теперь у нас делается, — писала она Средину, — но я вместе с вами верю в светлое будущее России...»

«ЕРМОЛОВА УХОДИТ, А ОНИ ОСТАЮТСЯ»

Попрежнему в театре царят казенные, чиновничьи нравы, все тяжелее становится положение Марии Николаевны в театре. Никогда не знавшая фальши, с отвращением отворачивается она от упадочного, насквозь лживого искусства:

«Ломанье, шарлатанство, оплевывание идеалов, которым мы молились... Страшно, страшно теперь жить...»

Отношение начальства, которому во многом поперек дороги стояла благородная фигура Ермоловой, переходит подчас в настоящую травлю. Все чаще склоняется она к мысли об уходе из театра —

если не навсегда, то хотя бы на время. Друзья и товарищи уговаривают ее не торопиться.

— Если б нашлась хорошая пьеса, разве вы с вашим могучим талантом не всколыхнули бы публику с новой силой? — убеждает ее Федотова.

— Нет, нет! То, чего хотела бы я, — нельзя, а то, чего хочет мода, — я не хочу.

— Потерпите, выждите, зачем же уходить! — умоляет Федотова. — Пожалейте прошлое Малого театра. Что же и кто без вас останется?

— Если бы я умела бороться, отстаивать свои идеи и взгляды, я, может быть, и сделала бы что-нибудь для Малого театра, не дала бы ему хотя отчасти дойти до того, до чего он дошел.

— Но публика попрежнему любит вас. Верните ее в стены Малого театра, возьмите на себя этот подвиг!

— Нет, нет, силы изменили мне... Мне нужен отдых, чтобы отойти от театра, успокоиться...

Мария Николаевна сообщает о своем решении начальству, ссылаясь на то, что она хочет отказаться от ролей молодых героинь, — случай редкий в театральном мире. Она предлагает наполовину сократить ей жалованье, и дирекция охотно соглашается на ее просьбу, не дожидаясь даже утверждения конторы.

1907 год. По Москве разносится тревожная весть. В воскресенье 4 марта Ермолова выступает в последний раз перед годовым отпуском. Москвичи волнуются: ходят слухи, что Мария Николаевна совсем покидает сцену.

Вечером 4 марта она играет роль царицы Зейнаб в пьесе Сумбатова-Южина «Измена». Чествование артистки запрещено дирекцией: Ермолова прослужила в театре тридцать семь лет — цифра не юбилейная. Приняты все меры, усилен отряд полиции в театре, строго запрещено чтение адресов и приветствий.

Но все напрасно! Спектакль превращается в сплошную, все разрастающуюся овацию. Из переполненного зрительного зала несутся крики: «Не уходите!», «Вернитесь!», «Не покидайте нас!»

Под бурю рукоплесканий Ермолову венчают золотым венком. За

кулисами рабочие подносят ей квадрат, вырезанный из пола старой сцены Малого театра, по которому она сделала свои первые шаги в «Эмилии Галотти».

Поддерживаемая Ленским и Южиным, радостно взволнованная, Мария Николаевна подходит к рампе:

— На мою долю выпала великая честь быть артисткой Малого театра. — Голос ее дрожит, на глазах слезы. — Сегодня в моем лице вы чествуете наш дорогой Малый театр. Я вместе с моими товарищами, как могла, служила его возвышенным идеалам. И я надеюсь, что еще буду, может быть...

В оглушительных аплодисментах тонут последние слова.

«Стыд — вот впечатление, которое вынесет сценический мир, а с ним вся театральная Москва и вся культурная Россия от известия об уходе Ермоловой и о тех мерах «пресечения» и «предупреждения», которые так усердно применяло театральное начальство, желая ввести прощание публики с великой артисткой в рамки циркулярного «порядка»! Стыд и позор! — Эти гневные слова москвичи читают после прощального спектакля в журнале «Театр и искусство». — Впрочем, что делать Ермоловой в этой усыпальнице? Ведь это все «острова мертвых» — эти казенные будки, именуемые театрами. Один за другим выпадали бриллианты из короны Малого театра, во всех углах завелась паутина. Какие-то Хлестаковы распоряжаются им. Ермолова уходит, а они остаются. Величайшая трагическая актриса, образец трагической чистоты, не имеет что играть, играет пустяки! Ермолова уходит, оставляет сцену в возрасте, который для трагической актрисы можно назвать только зрелым... Ермолова уходит, и бумажная стена циркуляров отделяет ее от публики, подобно тому как она наглухо отрезала Малый театр от живой жизни...

По чиновничьему ритуалу отпустили гениальную актрису, по чиновничьему ритуалу устроили прощальный спектакль. Номер, бумага, светлые пуговицы — вот и всё. Над московским Малым театром можно отныне смело поставить надгробную плиту...»

11 марта. Шесть часов вечера. К подъезду большого дома на Мясницкой то и дело подъезжают извозчичьи пролетки. Огромный зал Литературно-художественного кружка полон народу. По всему залу расставлены парадно накрытые столы.

Сегодня торжественный обед в честь Ермоловой. На стене, прямо против входа, весь в цветах, освещенный невидимыми лампочками, ее портрет работы художника Серова — во весь рост, с вдохновенными, устремленными вдаль глазами, в длинном бархатном платье с высоким воротником. За центральным столом — такая же стройная, строгая и величественная, как на портрете — сидит Мария Николаевна. Взволнованным взглядом обводит она присутствующих. Сколько знакомых лиц! Актеры, писатели, ученые, художники... Вот Владимир Иванович Немирович-Данченко, вот Давыдов, Корш, вот над всеми возвышается прекрасная голова Станиславского. Вот историк Ключевский, вот Павел Никитич Сакулин — профессор Высших женских курсов, вот Бахрушин...

Неужели все они собрались сюда ради нее? Да, стоило отдать тридцать семь лет «каторжного труда» за эти минуты гордости и счастья!

...Чтение адресов, приветствий, телеграмм, речи, прерываемые аплодисментами... Все это, как во сне, то приближается и становится ясным и отчетливым, то отодвигается куда-то далеко-далеко, застилаясь туманом...

— Как старый слуга науки... Союз науки и искусства...

Мария Николаевна прислушивается. Это Ключевский приветствует ее.

— Вы — Орлеанская дева русской сцены... — Сакулин обращается к ней через головы собравшихся. — Земно кланяемся вам за все, что вы сделали для родного искусства...

— ...королева русской сцены... — долетают до нее слова Корша.

Буря аплодисментов заглушает их.

«Что он говорит! Какие слова!» проносится в сознании Марии Николаевны.

— ...не только королева русской сцены, — настойчиво продолжает Корш, — но и королева всемирной драмы и трагедии...

Один за другим сменяются ораторы... Взволнованные лица... цветы...

— Вы были нашим солнцем, вы озаряли нашу молодость, Мария Николаевна...

— Палачи могли сжечь сочинения Вольтера, — на весь зал звенит голос артистки Яворской, — но никто не может отнять у русского искусства Ермолову...

Вот взволнованный молодой голос произносит приветствие от студентов Московского университета, и эти простые, искренние, идущие от сердца слова глубоко трогают Марию Николаевну. Молодежь попрежнему близка и дорога ей...

Вот артистка Яблочкина оглашает чью-то телеграмму. Еще не прочитана подпись Федотовой, но Мария Николаевна уже догадывается, кто послал это дружеское приветствие, полное сердечности и любви. Теперь уже до конца дней не ляжет между ними тень былой розни...

И Мария Николаевна вспоминает, как она на святках ездила к ней под Каширу. Беспомощная, прикованная к креслу фигура, попрежнему прекрасные, удивительно молодые глаза... Сколько еще энергии, воли к жизни, жажды творчества в этой женщине! Как она ожила, расспрашивая Марию Николаевну о театральных делах! Былая легкость, уверенность появились в ней. Неужели в одиночестве, вдали от сцены, от друзей погаснет пламя этой богатой души? Как больно, что она не может присутствовать на сегодняшнем празднике...

Вот на смену Яблочкиной выходит актер Правдин. В руках у него только что полученные телеграммы. Он раскрывает первую из них:

— От управляющего Конторой московских театров фон-Бооля...

Пронзительные свистки, шиканье, крики «долой», «позор» несутся со всех концов зала. Седые профессора, общественные деятели, писатели, внезапно помолодев, как мальчишки с галерки, свистят и кричат, не давая продолжать чтение. И Мария Николаевна, пожалуй, в первый раз в жизни испытывает злорадное чувство: «Ага, так и надо!»

С видимым удовольствием Правдин откладывает в сторону злополучную телеграмму и вместо нее оглашает приветствие от Союза драматических писателей:

— «...В полном расцвете творческих сил Марии Николаевне приходится оставить те подмостки, которые она озаряла тридцать семь лет. Невыразимо больно, что в стенах славного своими художественными традициями Малого театра могут возникнуть условия, ничего общего с искусством не имеющие... Никакой грубой руке не удастся разорвать творческую цепь, связавшую Марию Николаевну с ее отчим домом, Малым театром...»

«...Отчий дом... Да, они правы...»

Вот Владимир Иванович Немирович-Данченко произносит речь от имени всего Художественного театра:

— ...Наше удивление перед вами искренне и глубоко. Какому учету может поддаться ваше незримое влияние на театр?.. Когда мы вспоминаем ваши сценические создания, сотканные из тончайших страданий, мы называем вас певцом женского подвига. Этим песням нельзя научиться, но они учат любить и плакать, их звуки остаются в душе... Когда мы вспоминаем другие образы, палящие огнем, проникнутые безграничной любовью к свободе и ненавистью к гнету, нам хочется крикнуть истории наше требование, чтобы в издании с портретами бойцов за свободу портрет Ермоловой находился на одном из почетных мест...

ВРЕМЯ ЛЕТИТ

Время летит, как ветер, как сон. Близится к концу годовой отпуск Ермоловой. Попрежнему мрачна и темна жизнь вокруг, попрежнему не видно просветления в искусстве. Пустые, бессодержательные пьесы, полные лжи и пошлости роли... Ленский стоит теперь во главе Малого театра — большой актер, всю душу отдавший искусству, с неустрашимой энергией вступающий в борьбу с казенным, чиновничьим произволом.

— Публика думает, что актеру сыграть пустую, бессодержательную роль только скучно и ничего больше, — однажды сказал он Марии Николаевне. — Жестокая ошибка!

Верная своему обещанию, Мария Николаевна ровно через год — 4 марта 1908 года — вновь появляется перед публикой в роли Кручининой в пьесе Островского «Без вины виноватые». Как прошлогодний прощальный спектакль, так и эта первая после разлуки встреча с публикой превращается в чествование великой артистки.

Едва Ермолова выходит на сцену, как все зрители встают, чтобы приветствовать ее, и восторженные овации долго не позволяют ей произнести ни слова...

По ходу пьесы Дудукин — местный покровитель искусств — такой речью приветствует актрису Кручинину:

— «Господа, я предлагаю выпить за здоровье артистки, которая оживила заглохшее, стоячее болото нашей захолустной жизни... Будем же благодарны избранным людям, которые изредка пробуждают нас и напоминают нам о том идеальном мире, о котором мы забыли...»

Но Ленскому, играющему роль Дудукина, публика не дает продолжать, относя эти слова к самой Ермоловой. Голос Ленского тонет в аплодисментах и восторженных криках. Он умолкает и сам аплодирует Марии Николаевне вместе со зрителями.

Так встречает Москва свою любимую артистку.

А Мария Николаевна после годового отсутствия показывает в новой роли всю силу, весь блеск своего таланта.

«Редко даже сама Ермолова играла с таким благородством, с такой застенчивостью художницы и нежностью женщины, — пишет об этом спектакле автор статьи, появившейся в журнале «Театр и искусство». — Она вложила в грудь Кручининой живое, простое, нежное, полное тихой печали сердце...»

Недаром роль Кручининой делается одной из самых любимых в репертуаре Марии Николаевны. Ею она начинает новый круг своего творчества, которому отдает последний период жизни на сцене. Любовь, радость, страдания, гордость, тоска матери — вот те чув-

ства, которые с огромной силой передает она теперь в своих созданиях.

Время летит, как ветер, как сон. Один за другим уходят из жизни друзья и старые товарищи. Давно уже нет любимого «деда» — Сергея Андреевича Юрьева, поистине жившего и умершего в театре (он внезапно лишился чувств в пролетке и, когда пришел в себя, угасающим голосом сказал извозчику: «В театр!»)... В 1908 году умирает Ленский, и Мария Николаевна тяжело переживает это великое горе, постигшее Малый театр. Следующий год приносит ей горькую весть о смерти Средина, и меркнет светлый огонек, озарявший десять лет ее жизни.

В памяти Марии Николаевны навсегда остается его образ перед последней разлукой в Ялте. Пароход, сутолока, шумная толпа народа, дамы в белых платьях, почему-то много генералов, и на набережной — милая, высокая, немного сутулая фигура в соломенной шляпе, в светлом чесучевом костюме... Он машет рукой, и Мария Николаевна не отрываясь смотрит на него... Вот он исчезает, пароход медленно проходит вдоль городка. Знакомый дом на горе... терраса, на которой было проведено столько счастливых часов — и больше ничего не видно...

Время летит... 30 января 1910 года исполняется сорок лет работы Ермоловой в театре. Этот день она проводит в тихом имении близ Каширы, у Гликерии Николаевны Федотовой.

Уютная, светлая комната, старинные портреты на стенах, мягкие низкие кресла, дрова потрескивают в камине. За окнами — красноватые стволы сосен, снег — такой белый, что больно глазам, и тишина, тишина... Спокойствие охватывает душу, далекими и ничтожными кажутся все мелочи повседневной жизни, оставшиеся там, в большом, шумном городе... Гликерия Николаевна, в белом кружевном чепчике, помолодевшая, оживившаяся, полулежит на кушетке...

В воспоминаниях о былых днях, о горестях и радостях, о товарищах по сцене — живых и навсегда ушедших — проходит этот короткий зимний день.

— Ведь вот, говорили, что мы с вами не были дружны, Мария

Николаевна, голубушка... — Проницательные, живые глаза Гликерии Николаевны смотрят открыто и правдиво. — Я всегда, всегда горячо любила вас и ваш талант, и никакие злые силы не могли бы расторгнуть наш дружеский союз...

Она искренне верит в свои слова. Далекими, а быть может, и никогда не существовавшими кажутся ей чувства зависти и соперничества, волновавшие ее в молодости. Близка и дорога теперь для нее Мария Николаевна.

— Да, все было другим. Все увлекало, все ободряло, все, все было лучше. Что теперь сталось с театром! Как и чем поправить? Теряю голову. Вы одна можете воскресить прошлое, на вас только и надежда...

— Нет, нет, родная моя, Гликерия Николаевна, не говорите этого! Наш театр — развалина некогда чудного здания, а я — бледная тень, изредка напоминающая о том, что было когда-то...

Время летит... 1914 год, мировая война. Мария Николаевна тяжело переживает это общее народное бедствие. Родные и знакомые уходят на фронт. Не дождавшись возвращения мужа и сына, умирает от горя младшая сестра Александра Николаевна. Каждая газетная страница приносит новые страшные вести...

А в Малом театре идут легкие комедии, пошлые пьесы для развлечения «героев тыла». Во главе Малого театра стоит теперь Южин. Вместе с лучшей частью актеров пытается он поднять театр, освободить репертуар от ходульных произведений театральных ремесленников. Но театр продолжает падать. Сколько усилий приходится тратить для того, чтобы добиться разрешения конторы на постановку пьесы, достойной репертуара Малого театра!

Преодолевая болезни, слабость, смертельную усталость, Мария Николаевна пытается хоть советом помочь Южину в его трудном деле. Ее поражают его душевная стойкость, тонкое понимание жизни, удивительное умение обходиться с людьми. Разговор с ним всегда успокаивает ее, вносит надежду...

— Напрасно думают эти господа из конторы, что можно достигнуть чего-нибудь одними указами! Не контора, а сцена дает жизнь искусству. Не контора, а сцена привлекает зрителей и создает те-

атру славу. Не контора, а сцена воспитывает общество, и эти чиновники, важно расхаживающие по театру, еще смеют снисходительно отвечать на поклоны актеров! Вот в ком таится главное зло, угнетающее и разрушающее искусство...

— Да-да, вы правы, дорогой Александр Иванович! Все кричат: «Малый театр развалился, и нет ему спасения!» Это ложь. Спасти его можно, хватило бы только сил и желания.

— Главная сила Малого театра — это вы. Вы — его сердце, и если вы захотите...

— Нет, нет, я никогда не умела бороться! Всегда я была актрисой — и только.

— Не говорите так, Мария Николаевна. Мы вместе будем бороться. Приказывайте, а я с восторгом и преданностью пойду за вами, как некогда молодой Дюнуа шел за своей Иоанной...

Горячей борьбе за театр эти два человека отдают все свои помыслы, все силы. Неудачи преследуют их, и не раз они приходят в отчаяние, теряют надежду, но снова и снова начинают борьбу за дело, которому они посвятили свою жизнь.

Они твердо верили, что недалеко то время, когда Малый театр оживет и, полный творческих замыслов, откроет свои двери для нового зрителя...

ЭПИЛОГ

1917 год, — год Великого Октября. События огромного исторического значения происходят в нашей стране. Молодая республика напрягает силы в борьбе с врагом; народ защищает свое отечество на полях гражданской войны.

Ермоловой шестьдесят четыре года, но, как в пору молодости, ее могучий голос с подмостков рабочих клубов призывает к защите родины и свободы.

Слабая, больная, без отдыха участвует она в концертах и выездных спектаклях Малого театра, организованных для зрителей рабо-

чих окраин. Друзья и родные умоляют ее пощадить себя, поберечь свое здоровье.

— Разве такое теперь время, чтобы думать о себе! — отвечает она.

Новые, невиданные дотоле зрители наполняют холодный, давно не топленный зал Малого театра. В валенках, в шинелях, в полушубках, прибывшие с фронта, едущие на фронт — жадно смотрят они на сцену, жадно ловят каждое слово актеров. Марии Николаевне радостно играть перед этими зрителями, для которых — она твердо уверена в этом — театр не только зрелище, но и школа, в которой они ищут и находят силы для борьбы и труда. И она показывает им ряд лучших своих созданий за последние годы, а также выступает в новых, необычных для нее ролях — королевы в комедии Скриба «Стакан воды» и старой княжны в запрещенной до революции пьесе Гнедича «Декабристы».

В первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции Ермолова принимает горячее участие в судьбе обновленного Малого театра. Вместе с Южиным и другими актерами входит она в комиссию, вырабатывающую проект «Основного положения Государственного Малого театра».

«Конечно, наш театр должен быть национальный, государственный, и, конечно, управлять им должны те, кто всю жизнь отдает ему, во главе с вами!» пишет она Южину.

Советское правительство утверждает проект, и Мария Николаевна спешит выразить свою радость по поводу этого радостного события в жизни театра.

Хмурое утро 2 мая 1920 года. Несмотря на ранний час, давно уже началась жизнь в тихих, строгих комнатах на Тверском бульваре. Старенькая няня Васильевна хлопочет по хозяйству. В гостиной уже накрыт стол для немногочисленных посетителей — близких друзей и родных, которых обычно Мария Николаевна принимает у себя.

Но Мария Николаевна в это утро долго не покидает своей спаль-

ни. Домашние осторожно проходят мимо ее двери, стараясь не шуметь, прислушиваясь. На лицах их какая-то особая торжественность, они перешептываются о чем-то, советуются... Васильевна смотрит на часы и озабоченно качает головой — Мария Николаевна сегодня нарушает распорядок дня.

Между тем гостиная наполняется цветами. Огромные букеты в хрустальных вазах, большие корзины, перевитые белыми лентами, украшенные бантами, стоят на столе, на тумбочках, на полу.

В кабинете на круглом столе растет гора писем и телеграмм.

Наконец дверь спальни отворяется, и на пороге появляется Мария Николаевна. Она в праздничном серебристо-сером шелковом платье. Широкие складки свободно падают, придавая необыкновенную мягкость ее все еще стройной фигуре. Черные, почти без проседи, гладко зачесанные назад волосы оттеняют высокий лоб и бледное, прекрасное и в старости лицо. Глаза смотрят задумчиво и спокойно.

Она обнимает домашних, потом неторопливо проходит в свой кабинет и принимается за чтение. Но не ладится сегодня обычное утреннее чтение. Картины прошлого проходят перед взором Марии Николаевны, и она не в силах сегодня отрешиться от них. Медленно поднимается она с кресла и, остановившись у круглого стола, рассеянно перебирает телеграммы и письма. Под руки ей попадается конверт, надписанный знакомым почерком. Лицо Марии Николаевны светлеет — это пишет ей «верный, неизменный ее почитатель» Константин Сергеевич Станиславский...

«Можно жить, пока есть такие люди на свете», когда-то сказала она о нем в разговоре с дочерью. И время не заставило ее изменить это мнение.

«Дорогая, любимая, прекрасная Мария Николаевна! Сегодня мы можем дать простор нашему чувству национальной гордости...

Вы — самое светлое воспоминание нашей молодости. Вы — кумир подростков, первая любовь юношей. Кто не был влюблен в Марию Николаевну и образы, ею создаваемые?

Великая благодарность за эти порывы молодого, чистого увлечения, вами пробужденные. Неотразимо ваше облагораживающее

влияние. Оно воспитало поколения. И если бы меня спросили, где я получил воспитание, я бы ответил: в Малом театре, у Ермоловой и ее сподвижников.

Вы познали женское сердце... Каждая ваша роль — открытие новых сокровищ женской души. Вы возглавляете нашу русскую артистическую семью. В минуты сомнения в своем искусстве мы мысленно обращаемся к вам и снова верим в духовную мощь артистического творчества. Великая благодарность и слава вам за ваш неугасаемый свет чистого искусства...»

Мария Николаевна долго неподвижно стоит с письмом в руках, потом подходит к окну и, отдернув занавеску, с беспокойством вглядывается в тусклое небо... Дождь. Свинцовые тучи нависли над Москвой. Блестят мокрые крыши соседних домов, зеленеют посвежевшие, едва распустившиеся листья Тверского бульвара. Дождь...

Но дождь не мешает артистам всех московских театров собраться на Театральной площади. Так начинается праздник русского искусства — чествование Ермоловой, отдавшей театру пятьдесят лет жизни.

Торжественное шествие, над которым реет алый бархат с надписью: «Ермолова — наше знамя», направляется к дому на Тверском бульваре. Впереди всех — труппа Малого театра.

В белом платке, высокая, величественная, Мария Николаевна появляется на балконе, и слезы счастья текут по ее бледному лицу.

...Вечером того же дня в Малом театре идет юбилейный спектакль, в котором занята вся труппа, — таково желание Марии Николаевны.

«Я хочу только одного, — писала она Южину, — чтобы в этот вечер все мои товарищи были со мной вместе. Но что мне до того, что они выйдут на сцену для приветствия! Это не то. Надо, чтобы они вышли на сцену для своего дела, а не ради моего юбилея».

Исполняются третий акт «Горя от ума» и отрывки из «Марии

Стюарт». В роли Марии Стюарт выступает Ермолова и, как в былые дни, потрясает зрителей силой своего вдохновения...

Вот за кулисами раздается голос Ермоловой, вот она появляется — и стены Малого театра едва могут вместить ту бурю, которая разражается в зрительном зале... Два поколения зрителей приветствуют великую актрису. Ее современники пришли встретиться с той, чье высокое искусство озаряло их молодость и было для них символом женственности, благородства и чистоты... К ним присоединяется новое, молодое поколение. Оно поблагодарит Ермолову за те минуты радостного волнения, которые она еще успела подарить ему своим искусством...

После антракта поднимается занавес, начинается торжественное чествование. В левом углу сцены — Мария Николаевна, окруженная артистами Малого театра.

В первом ряду переполненного зрительного зала сидит Владимир Ильич Ленин. Приветствуя Ермолову, он первым поднимается со своего места, и вслед за ним поднимается весь зал.

По предложению Ленина, Советское правительство постановило впервые в нашей стране присвоить Ермоловой высокое звание Народной артистки Республики.

— ...Я глубоко горжусь честью, которая мне оказана, и глубоко тронута тем именем, которым вы меня называете... Всю свою душу Малый театр отдавал народу, и всегда стремились к нему он и я. И до конца дней мы принадлежим народу...

И как бы в ответ на эти взволнованные слова, раздается приветствие от Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов, в котором слышится признание нового поколения зрителей:

— В зале Малого театра пролетариат получил от старого мира в наследство лучшее, что в нем было, — искусство, и среди этого искусства красоту его — М. Н. Ермолову...

Долго еще звучат торжественные речи. Долго еще артисты, писатели, общественные деятели, ученые — вся культурная Москва чествует великую артистку. Время от времени Ермолова поднимается и стоя слушает эти речи, но товарищи усаживают ее в кресло.

Взволнованным прощальным взглядом обводит она знакомый круглый зал, сцену, всю уставленную цветами, — ту самую сцену, на которой она появилась шестнадцатилетней девочкой в «Эмилии Галотти» и на которой прошла вся ее большая жизнь...

Поздняя ночь. В глубокий сон погружен дом на Тверском бульваре. Только в двух окнах второго этажа сквозь розоватые стекла виден слабый свет. В своем кабинете за письменным столом сидит Мария Николаевна. Крупным дрожащим почерком пишет она письмо своим товарищам — актерам Малого театра:

«...Родные мои братья и сестры, только теперь я почувствовала всю глубину вашей любви ко мне и всю горячую любовь мою к вам и привязанность к Малому театру. Когда живешь в семье, ведь не замечаешь, как дороги тебе отец и мать, еще иногда сердишься на них, но когда случается что-нибудь, нарушающее порядок обыденной жизни, радостное или горькое, тут только начинаешь чувствовать, как они дороги, как близки и как без них жить нельзя. Так и день 2 мая заставил меня почувствовать всю радость, все счастье этой огромной, связывающей нас навеки любви. Не в криках восторга, не в словах «великая», «гениальная» я почувствовала это, но в той сердечной теплоте, в тех заботах обо мне, в тех слезах, которые мелькали на ваших глазах. Подумайте, как велико и свято, значит, то дело, которому мы служим... Сколько бы дней или месяцев ни осталось мне жить, вся моя душа и те остатки моего таланта, если они еще могут быть полезны, принадлежат вам, то-есть Малому театру...»

Последние годы Ермоловой протекли уединенно и тихо. Она скончалась 12 марта 1928 года. Сотни и тысячи москвичей шли к дому на Тверском бульваре, чтобы проститься с прахом великой русской актрисы. Народу было так много, что родные Марии Николаевны боялись, что старинные деревянные лестницы дома, построенного еще до нашествия французов, не выдержат и рухнут.

Четыре дня гроб стоял в гостиной, все новые и новые лица сменялись в почетном карауле, а она лежала спокойная, прекрасная и как будто задумалась над прожитой жизнью...

Гражданская панихида была назначена в Малом театре. Накануне дня похорон, теплым весенним вечером, при свете факелов Москва проводила свою любимицу к театру, которому была отдана жизнь чистая, вдохновенная, полная любви и труда.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ДЕТСТВО

В театре н дома 3
Игра 9
Театральное учнлнще 12
Две Вари 16
«Балетная мýка» 21
«У комода» 26
Лазарет 28
«Невозможный паж» 30
Через три года 36
«Театр — отец, театр — мне мать» 39
Свидание 42
«Женнх нарасхват» 45
Приговор 51

ЮНОСТЬ

Перед вакациями 55
Большой дом 58
Ночь 63
Первая репетиция 65
За кулисами 68
30 января 1870 года 70
Подруги 75
Успех 78
После выпуска 82
Из дневннка 84
Из дневника 89
У Топольской 93
«Закулнсная гроза» 97
Первый бенефис 99

СЛАВА

Малый театр 104
Работа 106
«Таланты и поклонники» . . . 113
Прнзнаине 117
«Орлеаиская дева» 123
Сцена и жизнь 134
Друг 137
Памятный вечер 140
Из дневника 146
Горькие годы 149
«Ермолова уходит, а они остаются» 151
Время летит 156
Эпилог 160

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об этой книжке присылать по адресу: Москва, М. Черкасский пер., д. 1, Детгиз.

Для старшего возраста

Ответственный редактор Е. Бобрышева. Художественный редактор С. Алянский. Технический редактор М. Кутузова. Корректоры Е. Балабан и Е. Кайрукштис. Сдано в набор 3/IX 1949 г. Подписано к печати 17/XI 1949 г. 12 п. л. (9,39 уч.-изд. л.). 24 800 зн. в п. л. А13483. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2996. Цена 7 руб.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49.



